

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей  
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ  
ТОМ 4



im WERDEN-VERLAG  
МОСКВА - AUGSBURG 2003

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ДЕРЕВО РОДИНЫ .....	3
2. МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ .....	6
3. НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ .....	8
4. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОФИЦЕРА.....	14
5. СЕРЖАНТ ШАДРИН <i>(История русского молодого человека нашего времени) ..</i>	19
6. СЕДЬМОЙ ЧЕЛОВЕК <i>(Фантастический рассказ)</i> .....	22
7. ВОЗВРАЩЕНИЕ .....	27
8. ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ <i>(Рассказ о небольшом сражении под Севастополем) .....</i>	40
9. ИВАН ВЕЛИКИЙ .....	58
10. ОФИЦЕР И КРЕСТЬЯНИН <i>(Среди народа)</i> .....	62
11. МАТЬ <i>(Взыскание погибших)</i> .....	67
12. НА МОГИЛАХ РУССКИХ СОЛДАТ .....	70
13. САМПО .....	74
14. АФРОДИТА .....	77

Текст печатается по изданиям:

1-7. Советский военный рассказ. / Вступ. ст. Е. А. Глущенко. — М.: Правда, 1988. — 576 с.

8-14. Андрей Платонов. Течение времени. Повести, рассказы. Московский рабочий. 1971. Стр. 23-78, 102-120.

© «Im-Werden-Verlag». Составление и оформление. 2003

<http://www.imwerden.de>

[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

## ДЕРЕВО РОДИНЫ

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, — там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево «божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неосязаемым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну вслед; она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

«Потерпи немного, — произнес ей сын в своей мысли, — я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться».

Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага — того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. — Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пахут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна, — что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось расти.

«Полежи и отдохни, — говорил пустой земле красноармеец Трофимов, — после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мертвая».

Из темного, горелого мелколесья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел, — сказал Трофимов о стрелявшем враге, — лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется — помрешь от нас и соскучишься».

Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря, — надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро, — размышлял Трофимов, — а что толку? Я еще ни одного немца не победил!»

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно, идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед, на врага, тем раньше возвратится назад в деревню, к матери.

В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов с ходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затычным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было — он, наверно, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку, из чащи кустарника, начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит, — сдавливая врага, думал Трофимов. — Врешь, долго не протерпишь — я на гречишной каше вырос и сеяный хлеб всю жизнь ел!»

Слабое тепло шло изо рта врага; замирая, он все еще дышал и старался даже пошевелиться.

— Еще чего! — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. — Кончайся скорее, нам некогда!

Враг неслышно прошептал что-то.

— Ну? — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего.

— Русс... Русс, прости!

Трофимов отказал:

— Нельзя, вы вредные.

— Русс, пощади! — прошептал немец.

— Теперь уж не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу. — Теперь уж не сумею... У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли.

Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка была наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками, стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны, — там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага; он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что ему было теперь не больно и пусто жить и стало все равно, ни грустно, ни радостно, но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру», — и он упал в траву и откинул винтовку как ненужное оружие: пусть пропадет в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотою радости подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу — оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа.

— Вы у нас, — сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль? — спросил Трофимов; он увидел, еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну! — решил Трофимов. — Я как-нибудь буду!»

— Говорите быстро, что знаете? — опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю? — подумал Трофимов. — Да ничего!» И ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тела будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет!

— Значит, вы знаете вашу силу, — произнес офицер. — В чем же она заключается?

— Чувствую так, стало быть — знаю, — проговорил Трофимов; он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. — «И ты здесь со мной! — прошептал Трофимов Пушкину. — Изба-читальня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придется делать!»

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части? — сказал офицер.

— Как где? — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал.

— Командир — это вы, — убежденно сказал офицер. — Вы напрасно переоделись в солдата.

— Ага, — промолвил Трофимов, — ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой?

Немецкий офицер взял со стола револьвер.

— Сейчас вы научитесь.

— Убьешь, что ль? — спросил Трофимов.

— Убью, — подтвердил офицер.

— Убивай, мы привыкли, — сказал Трофимов.

— А жить не хотите? — спросил офицер.

— Отвыкну, — сообщил Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя на голове.

— Отвыкай! — воскликнул фашист.

«Опять мне смерть, — слабея, подумал Трофимов, — дитя живет при матери, а солдат при смерти», — пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе не скоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспамятстве и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой.

Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи; в узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреться.

«Я вытерплю, — говорил себе Трофимов, — мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустил на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самом себе.

Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной, чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену врага, в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага.

1942

## МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу уговаривающие слова, а затем и они впали в безмолвие.

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротой морщинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя,

прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец — в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке, на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстанутся на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, — людям оттуда трудно вернуться друг к другу, — поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

— Ну, Сережа, прощай пока, — сказал тот майор, которого любил ребенок. — Ты особенно воевать не старайся, подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну, чего ты, чего ты, — держись, солдат!

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел.

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

— Их разведчик идет! — сказал он тихо, будто самому себе. — Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

— Пошлют, — сказал майор. — Там у нас смотрят.

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок, — сказал майор, — и как я ему благодарен!»

Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата — ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели — ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в его владение.

Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно — память же ничем не порченная, а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вздоха шел.

Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца, — неизвестно, кто из них, — а позицию нашел Сергей.

Так он и жил в полку, при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно поранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась, она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость, и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой.

Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных всех человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем.

— А я-то не их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне побережь мальчишку, пока он обратно не прибудет... Да и когда еще Володя вернется, и куда его направят! Ну, это там видно будет...

Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно-счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война.

Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях — майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было.

Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку, может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

1943

## НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, — но лишь однажды ей удастся неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой



жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при этой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только всё высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу. Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, — им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, — значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека.

Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессиленного. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти. Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищите? — спросил я у немца.

— Да, — ответил Вальц. — Где он?

— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов.

Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению. Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов. Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную. Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настичь его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня. Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией — и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне всё время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, — и корнями ржи, и тлением отживших трав, и созревшими семенами, зачавшими новые былинки, — и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца. — Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне:

— Русский народ будет убит, — убежденно сказал он. — А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смиренный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет, а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно, в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца. И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежащего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидającego новый мир на тысячу лет. Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Фашист ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить, — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, — поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем. Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки.

Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец, я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему.

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю...

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, — нас обоих, может, убьет и завалит здесь, — я хочу знать! Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли; ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю, — повторил Вальц. — Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца. — Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц — Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращаясь к тысячам людей.

— Говори, — приказал я немцу, — говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие

было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром. В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, — на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил, — сказал я противнику. — А какой же ты сам по себе? Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу. — И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился:

— Стало быть, ты что же, — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот; кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой.

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь, и не: царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет, — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью, — говорил Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, — сказал я Рудольфу Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага. — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он считал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежащий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй, — сообщил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод ради Гитлера.

— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня, — уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне, — говорил мне Вальц. — Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц. — Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу, и с беспamięтством ненависти, возродившей мощь моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размолотили его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ОФИЦЕРА

Красноармеец передал мне для прочтения записную книжку, истертую об одежду и пропахшую телом человека, которому она принадлежала. Красноармеец сказал при этом, что он был ординарцем у владельца записной книжки, подполковника Ф. На первой странице книжки я прочитал вводное указание:

«Размышления, которые я считал полезным записать, не всегда являются лишь интимными настроениями, выраженными в мыслях, — только поэтому я их и записывал. Они могут стать достоянием любого советского военного человека, который пожелает ими воспользоваться, как ему нужно, — для себя и для других. Со мной может случиться смертельное несчастье, оно входит в мою профессиональную судьбу. Но я бы хотел, чтобы некоторые мысли, рожденные войной и долгим опытом жизни и, может быть, имеющие общую важность, не обратились в забвение вместе с моим прахом и послужили, как особого рода оружие, тому же делу, которому служил и я. А я служил и служу делу защиты нашего общего отчего крова, называемого Отчиной, я работаю всем своим духом, телом и орудием на оборону живой целостности нашей земли, которую я полюбил еще в детстве наивным чувством, а позже — осмысленно, как солдат, который согласен отдать обратно жизнь за эту землю, потому что солдат понимает: жизнь ему одолжается Родиной лишь временно. Вся честь солдата заключается в этом понимании; жизнь человека есть дар, полученный им от Родины, и при нужде следует уметь возвратить этот дар обратно».

Я спросил у ординарца, где теперь находится подполковник Ф.

— Он скончался от ран в полевом госпитале, — сказал ординарец. — А я еду к его родителям, везу его вещи, ордена, награды, благодарную грамоту и похоронную... Я знаю место, где его положили, а теперь надо сказать родным. Его сгубили с воздуха, а то бы он цел был... Его сгубили, а я вот живым остался, хоть и при нем же был, когда нас бомбили. Лучше б было мне скончаться, да не вышло случайности...

Я прочитал всю книжку покойного офицера и возвратил книжку ординарцу; однако я запомнил из нее, что мне показалось наиболее существенным или сохраняющим образ погибшего за нас человека.

*«1943 г о д. 10 а п р е л я.* Жена мне говорила когда-то давно, что я пишу ничего, но непоследовательно. А я думаю, что непоследовательность может быть удобной формой для искренности, и тогда этот недостаток является полезным. Я часто вспоминаю, что мне говорила жена, когда мы жили вместе в Луге, и как будто заново читаю свою жизнь и опять переживаю свою привязанность к жене, но в воспоминании мое чувство состоит только из грусти. Плохо, что наши чувства являются часто в форме грусти, но это потому, что война — разлука; однако я думаю, что и разлука, эта тяжкая грусть наших разъединенных сердец, может быть полезной, потому что я не уверен в постоянном счастье вечно добрых сердец, привязанных друг к другу и удовлетворенных своей близостью. Но чувство мое идет вразрез с моей мыслью, и я бы хотел сейчас увидеть близко мою жену и хоть немного поговорить с ней. А потом я опять был бы здесь, опять в труде, в напряжении войны, в постоянной заботе о тысяче предметов: о свежей картошке, о накоплении боеприпасов, о воспитании младших офицеров, о военторге, об этом проклятом автотранспорте, где непрерывно летят задние мосты, конички, какие-то подвески или опоры Гука, которые мне снятся в бреду живыми фигурками, причем они сами называют себя «локальными делегатами мирной конференции». Я артиллерист, но все предметы, составляющие вселенную вблизи меня, входят в мое ведение — и овощи, и души людей.

На нашем участке пока тихо. Против меня стоят на глубину двенадцать германских батарей, из них четыре тяжелые.

И они, и мы безмолвны. Пушкари наши учатся, и все мы, от нашего генерала до обозного солдата, — ученики. Мы учимся по 14 часов в сутки, даем себе духу. С разрешения командования я ввел в занятия своего дивизиона один час «общих знаний». Под этим понимаются невоенные знания: русская литература, история родины, география мира, жизнь великих людей. Я и другие старшие офицеры читаем личному составу доклады и лекции по этим дисциплинам; я читаю русскую литературу и историю родины. Я не зря ввел этот гуманитарный час в нашу военную учебу: теперь я точно установил, что военные знания лучше, охотнее и глубже усваиваются, когда военные занятия немного разбавлены или прослоены преподаванием общих знаний. Мы даем мало этих общих знаний, но их преподавание играет роль катализатора для лучшего усвоения общевойсковой и артиллерийской науки. Всякое однообразие, даже однообразие великого явления, утомляет человека. Я хочу, чтобы этот мой опыт был замечен.

*1943. 8 мая.* Тишина. Изредка в психозе бьют минометы немцев, когда им что-либо почудится на нашей стороне. Потом опять молчание. Бойцы любят солнце и, когда можно, снимают одежду и загорают, говоря что-то солнцу, как старому родственнику... Я думаю, что сдержим немцев и даже осадим их назад. Мои пушки будут работать жарко, добра для огня у меня много. Я отойти не могу, я буду вести огонь, пока не станут плавиться пушки и останусь возле них один, если лягут все мои расчеты, но отойти назад я не могу; во мне, если я дрогну, погибнет самая моя сущность, потому что я офицер не по званию только и погонам. Я стою здесь на переднем крае всей цепи народной обороны, мое дело одно — совершать победу, но начинается победа не здесь, а в тылу, в глубине Родины. Крепче тыл! И крепость тыла зависит от меня: тыловую землю надо увеличивать за собою, то есть наступать.

*1943. 10 июня.* Ты уже заготовил для нас победу — я говорю о технике и снабжении, — нам осталось ее совершить. «Крепче правый фланг!» — даже умирая, повторял когда-то Шлиффен; эта фраза, как известно, кратко определяла общую тактическую идею одной запланированной немцами войны. Крепче тыл! — вот общая стратегическая идея нашей Отечественной войны. Крепче тыл! -- это означает, что в ходе войны наша Родина во имя победы не должна расшатываться и истощаться, что военная, а также моральная мощь ее должна возрастать. Особенность нынешней войны в том, что ее нельзя закончить с падающими силами, ее надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной свежестью народа. Наше правительство знает тайну тыла как первоисточника нашей победы и духовной уверенности в святости нашего дела.

*1943. 23 июня.* Весь наш Центральный фронт объят тишиной. Стоит прекрасное русское степное лето, зреют хлеба, вечная жизнь волнами идет по Вселенной, но сердце наше напряжено ожиданием битвы... Во мне живет страстное желание не один раз умереть, не один раз подарить свою жизнь Родине, а несколько раз, и в этом смысле хочется жить дольше, чтобы часто иметь возможности дарить себя Отчизне целиком и каждый раз, поразив врага, спастись самому непораженным. Я заметил, что и у других наших офицеров и солдат есть это счастливое желание, но говорить о нем никто не любит. И не надо говорить. Самое важное: крепче тыл! Эта идея владеет мною. Что она означает? Что нужно сделать, чтобы крепкая наша Родина утвердилась еще более? Народ, нация, общество устроены сложно. Отдельный человек не может быть соединен сразу, непосредственно со всем своим народом. Человек соединяется с народом через многие звенья. В этих звеньях и содержится сущность дела, в них именно находится духовная и материальная мощь народа, в том числе и военная мощь.

Первое звено — семья, в ней живет среди всех любимых людей народа самое любимое существо каждого человека: его мать, его ребенок, его жена... Среди дорогих людей это существо самое драгоценное, оно тесно, жестко привязывает человека к жизни, к долгу и обязанностям. Вокруг этого одного или нескольких наиболее любимых людей находится священное место человека: его жилище, его имущество, дерево, дела, нажитое добро. Это добро дорого не только как полезная собственность, а как живой след жизни родителей, как материальное продолжение их любви к детям и после смерти. Но смысл семьи — в любви и верности, а без них не бывает

ни человека, ни солдата. Ребенок познает в семье любовь и верность сначала инстинктом, позже сознанием. Народ же и его государство ради своего спасения, ради военной мощи должны непрестанно заботиться о семье, как о начальном очаге национальной культуры, первоисточнике военной силы, — о семье и обо всем, что материально скрепляет ее: о жилище семьи, о ее родном материальном месте. Здесь не пустыки, а очень нежное — материальные предметы могут быть священными, и тогда они питают и возбуждают дух человека. Я помню армяк деда, сохранявшийся в нашей семье восемьдесят лет; мой дед был николаевским солдатом, погибшим на войне, и я трогал и даже нюхал его старый армяк, с наслаждением предаваясь своему живому воображению о геройском деде. Возможно, что эта семейная реликвия была одной из причин, по которой я сам стал солдатом. Малыми, незаметными причинами может возбуждаться большой дух.

Второе звено, второй круг более широкий. Человек работает в коллективе людей: на предприятии, в колхозе, в учреждении. Семейная школа любви и верности здесь дополняется школой долга и чести. В труде, в окружении товарищей человек находит исход своей творческой энергии и удовлетворяет в сознании общественной пользы своей деятельности естественное честолюбие. Трудовое же честолюбие при правильном воспитании его легко обращается в воинскую честь. А честь — мать смелости, она и робкого делает отважным. Следовательно, истинная культура труда является также школой чести, школой солдата. У нас в стране это звено воспитания человека было сильным местом, и в том заключается одна из причин отваги и стойкости наших войск.

Третье звено — это общество, то есть все связи человека: семейные, производственные, политические, а главное — прочие, кроме этих первых трех, связи, основанные на симпатиях, дружбе, общем мышлении, на интересе к будущему народа, к науке и искусству, на необходимости отдыха, на случайности, наконец. Через общество человек встречается со своим народом в лице его отдельных представителей, здесь он попадает на скрещение больших дорог, во взаимодействие с разнообразными людьми. Здесь человек претерпевает великое обучение: он учится сочетанию свободы своей личности со свободой всех, в нем воспитывается мышление и инициатива в соревновании с другими людьми. Искусство взаимодействия и маневра, искусство инициативы и соревнования здесь, в общении, человеком постигается практически.

Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости и одновременно впечатлительное, страстное уважение к личности другого человека есть необходимое условие для успеха общественного воспитания. Тогда оно, такое воспитание, подготовит в человеке тот характер личности, который необходим для квалифицированного воина, разумного солдата своего Отечества.

За обществом простирается океан народа, общее отцовство, понятие которого для нас священно, потому что отсюда начинается наше служение. Солдат служит лишь всему народу, но не части его — ни себе, ни семейству, и солдат умирает за нетленность всего своего народа.

Три эти звена, о которых я столь думаю, и есть точное определение тыла. От них зависит качество нашего человека и воина. В них, в этих звеньях, в их добром действии, скрыта тайна бессмертия народа, то есть сила его непобедимости, его устойчивости против смерти, против зла и разложения.

*1943. 26 июня.* Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы больше в истории, чем поэзии. Зло еще ни разу не забивалось навеки, безвозвратно. Может быть, лишь в удаленном будущем на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов не посредством смерти... И еще нужно нам одно — пример офицера. Без любви к своему офицеру солдат — сирота, а сирота плохой солдат. Офицер должен заслужить любовь своих солдат действительным превосходством своих человеческих и воинских качеств; лишь тогда, когда солдат убежден в превосходстве офицера, убежден до сердца, убежден своею любовью, ему легко страдать вместе с офицером и умереть возле него, когда потребует долг. Солдат здраво понимает, что несправедливо допускать гибель лучшего человека и бесчестно жить после него.



Есть в нашем русском советском человеке благородное начало, унаследованное от предков, воспитанное на протяжении исторической жизни народа; это начало надо не расточать, а умножить.

*1943. 30 июня.* Я измучился безмолвием войны. Кроме сигнальных ракет, «демонов глухонемых», мы давно не видели и не слышали никакого огня. Вдали по ночам нам слышен бывает «воздух» — небольшие бомбежки; и это всё. Стволы моих пушек дремлют в чехлах. Я весь день в заботах; нам всем известно, что в тишине накапливается гроза против нас, и мы в ответ врагу также собираем молнии для контрудара... Но я хочу узнать, что нужно еще дополнительно сделать для нашего успеха. Я довольно хорошо знаю своих, однако я понимаю также, насколько глубок человек, и поэтому ценю свое знание солдата все же невысоко. Но я уверен, что именно в солдате более открыто проявляются все лучшие качества его народа и скорее обнажаются его недостатки. Меня более интересуют недостатки, потому что они определяют боевую слабость духа. Для меня, как офицера, военная ценность человека является главным его измерением. Удельное значение человеческого духа в нашу войну весьма увеличилось. Дух, этот род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки. В него я постоянно всматриваюсь, — это моя обязанность, а не пристрастие. Прежде я писал о звеньях, посредством которых человек соединен и сращен со своим народом. Но есть еще одно средство, и оно имеет интегральное значение, оно объединяет каждого человека с его народом напрямую, объединяет с живыми и умершими поколениями его Родины. Это коммунистическое мировоззрение и мироощущение народа — когда мысль человека знает общую задушевную истину, чувство любит ее, а вооруженная рука защищает.

Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, в сияющее пространство. Теперь встречный шторм войны треплет наш корабль. Наша общая вера, правда и смысл жизни из умозрения, из мысли обратились в чувство, в страсть ненависти к враждебной силе, в воинское дело, в подвиг сражения. Я думаю над тем, как нужно еще лучше, во всенародном и всесолдатском измерении, превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной, превратить в простое, доступное всем, страстное, святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло воина и подымало на врага его руку. Это великое, нужное нам оружие, которым мы еще не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли. В этом деле большую силу имеет наше искусство. Ленин думал когда-то об увеличении значения театра, который может стать для народа тем же, чем были храмы. Он говорил о значении радио, кино и о призвании писателей как инженеров, устроителей человеческих душ. В этом вся суть: душа человека должна быть устроена, душа солдата в первую очередь. Мы многое сделали в этом отношении, но вооружать человека духом надо непрерывно, чтобы в боевом действии наш воин имел великое совершенство сердца и ума.

*1943. 4 июля.* В солдате есть одна особая тайна. Он, лишенный на войне семьи и привычных любимых людей, невольно, в силу свойства человеческого сердца, желает видеть в офицере замену всех тех, кого он любил, кого оставил на родине. Он хочет, чтоб и на фронте его сердце питалось чувством привязанности, а не оставалось грустным и пустым. Это естественно. Сколь многое может сделать офицер, понимая это обстоятельство, если он способен утвердить в себе высокие качества человека и образованного воина и не обманет своих солдат, готовых верить ему и любить его... Я живу в своем дивизионе как старший в большом семействе, я не могу жаловаться. Однако мне все же бывает трудно. Я привык любить свою жену, я часто забываю о ней среди многих забот и обязанностей, но и без памяти о ней душа моя молча страдает, что нет ее со мной, что, может быть, нет ее в живых на свете. Не все, оказывается, можно заменить. Есть в жизни незаменимое.

1943. 6 июля. Вторые сутки мы сдерживаем противника. Давит он серьезно. Все мои солдаты, все офицеры, все расчеты и батареи работают спокойно и точно. Я им сказал, что мы должны сдержать смертельный удар врага, направленный на всю нашу Родину, мы должны именно здесь и теперь утомить врага и расточить его силы своей обороной. В нас теперь живет тихая радость от долго дпящегося подвига. Мы все понимаем, в чем дело. Принять на себя удар смерти, направленный в народ, — этого достаточно, чтобы быть счастливым и в огне. Многие из нас получили сейчас впервые свободную возможность обнаружить все свои способности — в борьбе со смертью, рвущейся в глубину страны... Наводчик на батарее Скорикова, пока техники проверяли пушку, переобувался под огнем. «Укройся пока, — приказал я ему. — Чего ты не боишься?» Я думал, он глуп. «Я ихних погремушек не боюсь, товарищ подполковник, — сказал наводчик. — Это громко и страшно только для нас, а муравьи по земле ползают, и бабочки летают, им ничего». Он сразу понял, что и ужас — дело относительное и зависит от точки зрения. Такая философия тоже идет в помощь солдату. Бабочки правда, летают, словно вокруг стоит вековая тишина, и муравьи работают в почве с обыкновенным усердием... Генерал нами доволен. Приказано не жалеть «угля». Однако зря, ради одного шума, я снаряды тратить не буду. Мы не погремушка.

1943. 8 июля. Мое хозяйство работает день и ночь. Люди держатся духом, не хватает сна. Капитан Богатырев тяжело ранен, пятый раз за войну. Пятый раз он дарит Отечеству одну свою жизнь. Мне передали личное письмо в общем служебном пакете. Я стал его читать, оно от жены, но меня оторвали от чтения, и я его дочитал позже. Богатыреву после ранения стало сразу плохо. Он вызвал меня. Я пришел к нему в блиндаж, он велел фельдшеру выйти. «Мне страшно, подполковник, — сказал мне Богатырев. — Страшно от скуки, что я один там буду, на всю вечность один. Пройдет ли вечность? А вам было когда-нибудь так страшно, так мучительно, как мне сейчас?» Я ему сказал, что мне и сейчас страшно и мучительно. Богатырев заинтересовался, и от этой заинтересованности облегчилась немного его предсмертная мука. Я ему сказал как есть. Я получил письмо от жены; ее немцы застали в Луге, она, неловкая, не сумела уехать. Письмо шло ко мне год, его доставили на нашу сторону партизаны, и оно долго искало меня. Жена мне пишет, что все люди у них умирают с голоду, а она умирает от любви ко мне...

Богатырев чуть улыбнулся. Я понял его: мне сорок два года, я лысый, какая женщина может любить меня и за что особенное? «Где же теперь ваша жена?» — спросил Богатырев. Я этого не знаю сам, но я догадываюсь по намеку в письме, чего она хотела. Я сказал Богатыреву, что жена, видимо, ушла к партизанам, желая вместе с ними выйти к нам и найти меня, и в пути она погибла. Прошло уже много времени, она бы уже нашла меня. Она умерла от немецкой пули, она упала мертвой в мокрую холодную траву, исхудавшая от голода, любящая меня... «Плохо вам теперь», — сказал Богатырев успокоенно. Я оставил его, мне нужно было работать в бою. Через час мне доложили, что Богатырев скончался «с тихим духом». Вечная память всем мертвым, их смерть дарит жизнь нашему народу...»

— А как умер сам подполковник? — спросил я у ординарца покойного офицера.

— Спокойно, — ответил ординарец. — Рана была в живот, это место у человека слабое, беспокойное, крови оттуда много вышло... Я говорю: «Товарищ подполковник, крови есть потеря, а так вы весь целый, чистый...»

— А он что?

— А он все допрашивал меня: «А еще что вышло из меня? Кровь — пустяк, еще что вышло из меня, изнутри?» Я говорю: «Боле ничего, товарищ подполковник, что может быть такого, что из человека выходит...» А он: «Нет, врешь, говорит, из меня важное вышло, главное, говорит, вышло: чем я жил, чем держался, а теперь я весь пустой, дешевый стал», — и умер скоро, умер смирно...

— Что ж это было важное, что ушло из него при смерти? — спросил я.

Ординарец подумал.

— Кто ж его знает? Помирать будем, из нас тоже изнутри выйдет что-нибудь главное, тогда узнаем. Обождем пока.

— Хороший был человек подполковник?

— Ничего, он нам всем помнится...

1943

## СЕРЖАНТ ШАДРИН

*(История русского молодого человека нашего времени)*

Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека. В свое время по почину Максима Горького и под его редакцией была издана большая серия романов «История молодого человека 19-го столетия». Герои этих романов — молодые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди всех поколений века, носители почти всех идей своего времени, люди разной судьбы, но сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже сломлена, была устремлена к делу или подвигу — в той степени, в какой им дано было это понимать.

Мы не судьи им, молодым людям девятнадцатого столетия, но мы можем сравнить жизнь или судьбу молодого человека прошлого века, даже самого лучшего из них, с жизнью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда, трудно — столь велика разница и обстоятельства времени и характеров людей, а главное — результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом, его усилиями, соединенными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родина и человечество от рабства и гибели и открыты дороги свободы в даль истории?..

Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего воина, — не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных молодых наших воинов.

Он родился в селе Елани, Енисейского района, Красноярского края. Родители его крестьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он был приучен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая жизнь и воспитание и сделали из него, Александра Максимовича Шадрина, хорошего солдата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый труд, превратив его в непрерывный, почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин не образовался вдруг, когда он взял в руки автомат; он возник прежде, когда еще не знал боевого огня; характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа.

Свою службу в 1941 году рядовой Шадрин начал под Старой Руссой, в первом учебно-лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи:

— Работать надо, ребята! Работай огнем! Это лодырю страшно в бою, а кто работает — тому ничего.

Шадрин опомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели — по опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне: в бою надо быть неутомимо занятым своим делом — истреблением противника; тогда робость не войдет в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе.

В начале 1942 года Шадрин был ранен, но не тяжело. Весною того же года он опять вернулся в строй и воевал на Ильмень-озере, на Сонецком заливе, что против реки Ловать. Потом, осенью 1942 года, его часть отошла в тыл на переформирование и, усиленная, направлена была на Центральный фронт, на Курскую дугу. Время было тяжелое, но солдаты понимали, что без труда ничего не дается. Для того они и шагали тогда тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить Родину и переменить ее судьбу — от смерти к жизни.

Сейчас уже не может вспомнить Шадрин, сколько тысяч верст прошли его молодые ноги, и, как в сновидении, встают в его воображении сотни деревень, поселков и городов, малых, больших и великих, за каждый из которых был бой, за каждый из которых пали, уснув вечным сном, близкие товарищи. И сколько горя пришлось пережить Шадрину, навсегда расставаясь с погибшими друзьями, сколько раз дрожало его сердце, когда он всматривался в последнюю минуту в дорогое утихшее лицо друга перед вечной разлукой с ним! Он не знал, как могло вместиться столь много чувства и памяти в одно солдатское сердце.

Он помнит одно придорожное кладбище. В стороне от дороги стояло несколько самодельных деревянных памятников в форме пирамидок, с красноармейской звездой наверху. На памятниках написаны имена тех, кто погребен под ними; в некоторые памятники были вделаны фотографии погибших, но солнце, ветер и дожди быстро уничтожали изображения людей, чей образ должен быть вечен в памяти живых. Шадрин в сумерки проходил мимо этого кладбища. Он увидел там тогда одинокую пожилую женщину. Женщина опустилась на колени возле одной могилы. Сначала женщина была безмолвной, а потом она стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь.

Шадрин не знал, как нужно было утешить эту женщину-мать и можно ли было ее утешить в этот час. Но он знал, как можно утешить нашу общую Мать Родину. Он знал и чувствовал, что ненависть к противнику питается любовью к своему народу, а образ народа явился перед ним и в лице этой женщины, склонившейся над прахом своего сына.

Война нарастала в жестокости и беспощадности, в мощности оружия и длительности боев.

На Центральном фронте часть, где служил Шадрин, вошла в состав одной из армий. Первый бой на этом фронте, где дрался Шадрин, был под Муравчиком.

Немцы снова захотели здесь, на Курской дуге, повернуть войну в свою пользу и обрушили на нас мощный удар техники и живой силы. Несколько суток непрерывно шел бой. Разрывы снарядов временами были так часты на местности, что гарь, газ, земная пыль вытеснили чистый воздух, нечем было дышать, и бойцы чувствовали угар. Но они стояли на месте, чтобы не оставлять товарищей и довести врага до изнеможения в этой битве грудь в грудь, а затем пойти вперед, на сокрушение его.

Шадрин узнал, в чем есть сила подвига. Красноармеец понимает значение своего дела, и дело это питает его сердце терпением и радостью, преодолевающимися страхом. Долг и честь, когда они действуют, как живые чувства, подобны ветру, а человек подобен лепестку, увлекаемому этим ветром, потому что долг и честь есть любовь к своему народу и она сильнее жалости к самому себе.

Шадрин и его товарищи стояли здесь на свою смерть за жизнь России. Они дрались с воодушевлением и яростью, и враг был истощен на месте, не двинувшись в глубину нашей земли. Здесь Шадрин снова был ранен. Но он видел и понимал, что если бы его взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы командование было неумелым, то он и его товарищи вовсе погибли бы.

Из госпиталя Шадрин опять вернулся в свою часть и снова пошел в бой. Это было под селом Красавка. Бой здесь был еще более ожесточенным, битва гремела одновременно почти по всей Курской дуге. После нескольких суток боев наши бойцы пошли вперед, противник был уже надломлен в духе и истощен в своей силе.

Снова Шадрин прошел мимо Муравчика, и далее солдат пошел далеко вперед — до самой победы в Берлине.

Он брал с боем Семеновку и Новозыбков, Орловской области, вышел к Гомелю и на реку Десну. Он вошел в край многочисленных рек, и каждую нужно было форсировать под огнем врага, через каждую плыть на плотках или знаменитых подручных средствах, из них самым простым иногда оказывалось — вплавь на собственном животе.

Через реку Сож рота, где служил Шадрин, переправлялась под сплошным навесом огня противника, и Шадрин до сих пор помнит волны на Соже, гонимые разрывами снарядов против течения.

В районе Речицы Шадрин переправлялся через Днепр, а в промежутках меж больших рек переходил с боем через десятки других водных потоков, и из них ни один не забыт в его памяти.

Путь солдата продолжался — сквозь огонь — на запад, по земле и через реки. Шадрин вышел на Ковельское направление, затем на Брест-Литовск и Владову на реке Буг. Это было уже очень далеко от Муравчика и Красавки. Шадрин уже сносил не одну пару сапог, но ноги его шли вперед хорошо.

Изменилась природа вокруг него, изменился вид городов и сел, и сам Шадрин изменился — он дрался теперь спокойнее, точнее и лучше, чем когда-то под Старой Руссой.

После боев за Люблин, за Прагу Варшавскую, затем за всю Варшаву Шадрин прошел пешим маршем с боями пятьсот семьдесят километров за четырнадцать суток — от Варшавы до Дойч-Крона, что на правом берегу Одера.

Перед этим походом Шадрин находился на высоте 119 под Рушполье. Немцы контратаковали эту высоту много раз и большими силами. Пали смертью храбрых многие товарищи Шадрина, пали все офицеры; тогда сержант Шадрин принял на себя командование ротой, и высота осталась за нами. Высота после боя изменилась от огня, она стала как бы меньше; Шадрин устал, но не изменился.

После Рушполья Шадрин шел четырнадцать суток, в среднем по сорок километров в сутки, сбивая по дороге противника, нагруженный, кроме личных вещей и снаряжения, минометом. Одежда снашивалась на нем, истирался от огневой работы металл оружия, но Шадрин, когда приходилось как следует поесть и выспаться, не чувствовал, чтобы тело его оплошало или душа стала равнодушной.

Здесь было идти веселее, чем ходить по России в сорок первом или сорок втором году.

Из Дойч-Крона часть, где служил Шадрин, переправилась на левобережный плацдарм Одера, а оттуда — на восточную окраину Берлина.

Здесь Шадрин сел на броню танка, обошел Берлин с запада и после двухсуточного боя ворвался в Потсдам. Здесь бой был особый, он проходил и на земле и под землей, в тоннелях, в подвалах, в подземных галереях, во мраке глубоких казематов и в бункерах.

День и ночь работал Шадрин у минометов; душевное удовлетворение успешным боем поглощало без остатка утомление советского воина. На его глазах зло мира обращалось в руины, и его миномет превращал в трупы живую силу зла — фашистских солдат.

После завоевания Берлина Шадрин пошел далее на запад, к реке Эльбе. Здесь снова был бой. Сутки непрерывно дрался Шадрин на Эльбе, но это был уже последний бой войны. После боя Шадрин умылся в Эльбе, лег на землю и посмотрел на небо. Ясность неба и его бесконечность были родственны его душе. «Все! — сказал вслух Шадрин. — Свети теперь, солнце, а ночью — звезды!» — и уснул.

На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемневшим от ветра и солнца лицом, пришедший сюда из Сибири. Он спал сейчас счастливым, с выражением кротости на изможденном лице. Он совершил то, чего никто еще не совершал; велика его душа, благотворно его тело и прекрасна его молодость, вся исполненная подвига.

Это было седьмого мая 1945 года.

С тех пор миновало уже много времени. Шадрин по-прежнему служит в Красной Армии. Останется ли он в ней пожизненно или уйдет в гражданскую жизнь на свою родину, в Сибирь,

— неизвестно. Но пожизненно останется в душе Шадрина чувство вечной, кровной связи с армией, ставшей для него семьей, домом и школой за годы войны. Пожизненно долг и честь останутся законом его сердца и поведения, и пожизненно он будет тружеником — на хлебной ли ниве, в мастерской завода или в солдатском строю, — потому что он воспитан в подвиге, а подвиг есть высший труд, тот труд, который оберегает народ от смерти. И этот подвиг — труд солдат — матери, рождающей народ. И так же у нас священно существо солдата, как священна мать.

1945

## **СЕДЬМОЙ ЧЕЛОВЕК** (Фантастический рассказ)

### 1

Через фронт к нам пришел человек. Сначала он заплакал, потом осмотрелся, покушал пищи и успокоился.

Человек был одет худо — в черные тряпки, привязанные к туловищу веревками, и обут в солому. Мягкого тела у него осталось мало, не больше, чем на трупке давно умершего человека, — сохранились лишь кости, и вблизи них еще держалась его жизнь. По лицу его пошла темная синева, словно по нему выступила изморозь смерти, и оно у него не имело никакого обыкновенного выражения, и только всмотревшись в него, можно было понять, что в нем запечатлена грусть отчуждения ото всех людей, — грусть, которую сам этот пострадавший человек, должно быть, уже не чувствовал или чувствовал как свое обычное состояние.

Он жил, наверно, лишь по привычке жить, а не от желания, потому что у него отбирали и отчуждали все, чем он дышал, чем кормился и во что верил. Но он все еще жил и изнемогал терпеливо, точно до конца хотел исполнить завещание своей матери, родившей его для счастливой жизни, надеясь, что он не обманут ею, что мать не родила его на муку.

Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела, и поэтому лицо его и опустевшие глаза были столь мало одушевлены какой-либо жизненной нуждой, что не означали ничего, и нельзя было определить характер этого человека, его зло и добро, — а он все жил.

По документам он значился Осипом Евсеевичем Гершановичем, уроженцем и жителем города Минска, 1894 года рождения, служившим ранее старшим плановиком в облкустпромсоюзе; но по жизни он был уже другим существом, может быть — святым великомучеником и героем человечества, может быть — изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, — в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо; прежде человек мог быть способен к злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастье и, миновавши его, вновь принимал к теплой привычной доброте жизни; нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреться самосожжением, уничтожая себя и других.

Гершанович к нам пришел при помощи партизан, которых удивил и заинтересовал столь редкий человек, — редкий даже для них, испытавших всю свою судьбу, — способный вместить в себя смерть и стерпеть ее; они его провели, укрывая собою, и пронесли на руках мимо укрепленных очагов противника, чтобы он отошел сердцем от страдания, от самого воспоминания о нем и стал жить обыкновенно.

Речь Гершановича походила на речь человека, находящегося в сновидении, точно главное его сознание было занято в невидимом для нас мире, и до нас доходил лишь слабый свет его удаленных мыслей. Он назвал себя седьмым человеком и говорил, что с ручной гранаты он не подвинул предохранителя, потому что предохранитель был тугой и было некогда его двигать, а тугим предохранитель оказался оттого, что работа отдела технического контроля поставлена не на должную высоту, не так, как в его Минском облкустпромсоюзе.

Затем Гершанович говорил нам более ясно, что он брал домой вечернюю работу; ему нужны были деньги, потому что детей он нарожал пять человек и все его дети росли здоровыми, ели помногу, и он радовался, что они поедают его труд без остатка, и он приучал себя спать мало, чтобы хватало времени на сверхурочную работу; но теперь ему можно было спать долго и ему можно даже умереть — кормить ему больше некого: все его дети, жена и бабушка лежат в глиняной могиле возле Борисовского концлагеря, и там еще с ними лежат вдобавок пятьсот человек, тоже убитых, — все они голые, но сверху они покрыты землей, летом там будет трава, зимой лежит снег, и им не будет холодно.

— Они согреются, — говорит Гершанович. — Скоро и я к ним приду, я соскучился без семьи, мне ходить больше некуда, я хочу проведать их могилу...

— Живи с нами, — пригласил его один красноармеец.

— Я буду здесь жить, а они будут там не жить! — воскликнул Гершанович. — Им так нехорошо, им невыгодно — где же правда?.. Нет, я пойду к ним через смерть во второй раз. Один раз не дошел, теперь опять пойду.

И он вдруг вздрогнул от темного воспоминания:

— И опять я не умру. Убивать буду, а сам не умру.

— Почему? Это как придется, — сказал ему слушавший его красноармеец.

— Так опять придется, — произнес Гершанович. — Фашисту жалко смерти, он скупой, он одну смерть нам на семерых давал — это я им такую рационализацию изобрел, а теперь еще меньше будет давать: немец бедный стал.

Мы не поняли тогда, что хотел сказать Гершанович, мы подумали: пусть он бормочет.

Вскоре к нам пришли четверо партизан. Они, оказывается, давно знали Гершановича как бойца партизанской бригады имени N и сказали нам, что Гершанович — это великий мудрец и самый умелый партизан в своей бригаде. Семья его действительно была расстреляна под Борисовом, когда там расстреляли сразу полтысячи душ, во избежание едоков и евреев.

— А его самого смерть ни разу не взяла, хоть он и не прочь, — сказал один новоприбывший партизан. — Оно понять можно — почему это так: Осип Евсеич человек умный, и смерть ему нужна не глупее его, а фашист воюет шумно, бьет по дурасти, — это еще нам не погибель... В Минске Осипу Евсеичу пуля прямо в голову шла — и с ближнего прицела, — а в голову внутрь она не вошла, он ее заранее мыслью упредил...

Мы сказали, что этого не может быть.

— Может, — сказал партизан. — Это кто как воюет. Если воевать умело, то — может быть.

В доказательство он первый попробовал пальцами затылок у Гершановича; потом то же место попробовали мы — там под волосами была вмятина в черепе от глубокого ранения.

Поживши еще немного с нами, поев хорошей пищи, Гершанович стал более разумным и обыкновенным на вид, и тогда он снова ушел в дальний тыл врага, вместе с четырьмя партизанами. Он хотел вторично пройти тою же дорогой, где его не одолела смерть, где он не довершил своей победы, и потом вернуться к нам в скором времени.

Одетый в белорусскую свитку, обутый в лапти и вооруженный, Гершанович ушел ночью во тьму врага, ради его гибели и ради того, чтобы проведать своих мертвых детей.

Дойдя до Минска по партизанским дорогам, Гершанович отошел от своих спутников и снова, как и в первое свое путешествие, вышел в сумерки на окраину города. Он шел одиноко в тихом сознании, понимая мир вокруг себя как грустную сказку или сновидение, которое может навсегда миновать его. Он уже привык к безлюдью, к смертным руинам немецкого тыла и к постоянному ознобу человеческого тела, еще бредущего здесь живым.

Гершанович пошел мимо лагеря для русских военнопленных. Там за проволокой никого сейчас не было видно. Потом поднялся вдали русский солдат и пошел к проволоке. Он был одет в обгорелую шинель и без шапки, одна нога его была босая, другая обернута в тряпку, и он шел по снегу. Двигаясь на истощенных, трудных ногах, он бормотал что-то в бреду, — слова своей вечной разлуки с жизнью; затем он опустил на руки и лег вниз лицом.

У въезда в лагерь былолюдно. «И тогда былолюдно, — вспомнил Гершанович, — здесь всегда есть люди».

На скамье, возле контрольной будки часового, сидели двое фашистов, — это были старшие стражники из гестапо. Они молча курили трубки и улыбались тому, что видели перед собой.

Двое русских пленных в исправной воинской одежде и сытые на лицо гнали из лагеря других двоих людей, тоже русских пленных, но столь исхудалых, ветхих и равнодушных, что они казались уже умершими, бредущими вперед чужою силой.

Фашисты сказали что-то русским, и те двое, что были исправны на вид, толкнули двух своих товарищей, которые покорно упали, потому что они были беспомощными от слабости. Потом двое кормленых русских насильно подняли ослабевших и бросили их оземь. Затем сытые русские остановились в ожидании, желая отдохнуть. Немцы закричали им, что нужно трудиться далее, пока из слабых и ненужных выйдет весь дух жизни. Кормленные изменники исполнительно приподняли изнемогших красноармейцев и вновь бросили их головой на мерзлые кочки.

Фашисты засмеялись и велели работать скорее. Гершанович стоял в отдалении и смотрел; он понимал, что это убийство происходит ради экономии патронов, на которые немцы в тылу очень скупы, и, кроме того, фашистам из убийства необходимо было сделать воспитательное назидание для еще живых пленников.

Изнутри лагеря к воротам подошли пять человек пленных и безмолвно глядели на смертное истязание своих товарищей. Немцы их не прогоняли; они смотрели на русских с улыбкой привычной, почти равнодушной ненависти, приказав теперь работать изменникам реже. Но тем работать теперь было уже бессмысленно: они приподымали с земли и вновь бросали на кочки одни трупы с разможженными головами, с запекшейся охладелой кровью; люди, должно быть, скончались от внутреннего изнеможения, еще когда их ударили о землю первый раз: в них уже нечем было держаться дыханию. Однако фашисты продолжали эту казнь трупов, желая, чтобы ее воспитательное значение проявилось для живых в свою полную пользу.

Гершанович тихо направился к сидевшим на скамье немцам. К ним же в то же время подошли уставшие изменники и, вытянувшись, попросили добавочных харчей к пайку, что им полагалось за службу.

Немцы молча усмехались: затем один ответил им, что надбавки к пайку больше не будет: на хлебный обоз напали партизаны, и теперь нужно взять хлеб у партизан обратно. Ступайте в



наш карательный корпус, сказали фашисты, и отбирайте хлеб у партизан, тогда будете сыты, а у нас хлеба для вас нету...

Гершанович подвинул чеку на гранате под полую своей свитки и с ближней дистанции, с точностью метнул гранату в четверых врагов.

Граната яростно рванулась огнем, словно вскрикнула последним голосом человека, и враги людей, замерев на мгновение неподвижно, пали затем к земле.

В прошлый раз у другого въезда в этот же лагерь граната у Гершановича не взорвалась, он только разбил ею голову одного врага, как мертвым куском металла, но теперь он обрадовался и с удовлетворенной душой побежал прочь.

Однако часовой в контрольной будке остался живым; он начал стрелять вслед Гершановичу и в воздух.

Пять вооруженных самооборонцев появились из павильона, где когда-то продавались прохладительные напитки, и с шумом, крича друг на друга, чтобы не испугаться самим, напали на Гершановича и обезоружили его.

#### 4

Осипа Гершановича доставили в районную комендатуру, где он уже однажды бывал. Здесь в подвале каждых шестерых людей расстреливали одной пулей — так нужно было для экономии боеприпасов. Для того всех шестерых ставили близко в затылок друг другу, а в один рост их подравнивали тем, что маломерным подкладывали под ноги чьи-то сочинения в толстых книгах.

В комендатуре у Гершановича спросили — будет ли он что-нибудь говорить, чтобы остаться живым. Гершанович ответил, что, наоборот, говорить он не будет ничего, так как желает умереть, и не следует его мучить избиением — не потому, что не надо, а чтобы не тратить напрасно силу полевой жандармерии, чтобы в солдатах осталось целой лапша с бараниной, которую они кушают за счет государства.

Офицер, возможно, подумал, что слова Гершановича разумны, и он велел увести его. Однако Гершанович, пока не был мертвым, жил, и боролся, и надеялся победить.

Этот офицер был не тот, который допрашивал Гершановича в первый раз, поэтому Гершанович вторично предложил свое изобретение: можно одной пулей убивать не шестерых, а семерых, седьмой умирает не сразу, а потом, но тоже все равно умирает, для государства же получается экономия на огне в четырнадцать процентов.

— Седьмой не погибает, — сказал офицер. — Пробойная сила пули значительно ослабевает уже в шестой голове. Мне докладывали, что раньше здесь пробовали ставить седьмого, он уцелел и скрылся из незарытой могилы, раненный в затылок.

— Он умел уцелеть, — разъяснил Гершанович, — он был понимающий, и то голова его болела, ему ее повредили. Я знаю!

— Кто это был? — спросил офицер.

— А я знаю кто? Мало ли кто: жил один человек, жил мало, его убивали, он опять жил и умер сам, скучал по семейству...

Офицер подумал:

— Испытаем новый выпуск модернизированного мушкета — вы будете седьмым, но для опыта я поставлю и восьмого.

— Ну, конечно! — охотно согласился Гершанович.

— Интересно, — говорил офицер, — в мозгу ли у вас останется пуля или пробьет в лоб и выйдет в восьмого? У этих мушкетов жесткий огонь, но их пробойная сила неизвестна...

— Это интересно, — сказал Гершанович, — мы с вами это узнаем, — и подумал про офицера, что он глупый человек; затем конвойный солдат увел узника.

В общей камере, населенной будущими покойниками, шла обычная жизнь: люди чинили одежду, беседовали, спали или размышляли о том, какая у них есть жизнь и какая она должна быть по мировой правде. Камера не имела окон; круглые сутки в ней горела маленькая керосиновая лампа, и только вновь прибывший заключенный мог сказать время, но вскоре время опять забывали, о нем спорили, и никому не известно было достоверно — день или ночь идет на свете, а это всех интересовало.

Гершанович нашел себе место на полу и лег отдохнуть; его беспокоила теперь мысль — кто будет восьмым на расстреле; ему, этому восьмому, обеспечено верное спасение, если восьмой не окажется трусом или глупым человеком. «Плохо, — думал Гершанович. — Его пуля ударит слабо, если меня она убьет, — ну она кость ему может повредить, только и всего, — а он подумает, что его убило, и умрет от страха и сознания».

Прошло немного времени; Гершанович еще не успел отдохнуть, но всей камере уже велели выходить. Гершанович этого ожидал; он знал по первому разу, что немцы долго не содержат назначенных к смерти, чтобы не кормить их и не поить и вообще не думать о них, тратя напрасно размышление.

Второй раз в жизни опускался Гершанович по тем же темным каменным ступеням на смерть в подземелье. Он не узнал среди своих товарищей, шедших с ним на гибель, ни одного знакомого лица, и по их словам он догадался, что этих людей недавно привезли из Польши.

Ефрейтор сосчитал восемь человек, и в их числе Гершановича, шедшего вторым, а прочих оставил на лестнице.

В подвале светил робкий свет одинокой свечи, и возле света стоял тот офицер, который допрашивал Гершановича. Офицер, любитель оружия, рассматривал какую-то укороченную винтовку. «Все выгадывают на пользе, экономике, — рассудил Гершанович. — А нам экономить нельзя, пусть две пули на каждого немца придется, и то будет доход!»

Ефрейтор начал устанавливать заключенных в затылок.

— Я седьмой! — загодя напомнил Гершанович.

— Первым не хочешь умирать? — спросил ефрейтор. — Перехитрить нас хочешь? Умирай седьмым, по льготе, положи себе кирпич под ноги, у тебя роста не хватает.

Гершанович положил кирпич под ноги и встал на свое смертное место. Он посмотрел на восьмого, последнего человека — перед ним была лысина старика, покрытая пухом младенчества.

«Будет смерть, — сообразил Осип Гершанович. — А что такое? Здесь я жил неплохо; на тот свет попаду — и там буду стараться быть, и там мне будет хорошо, и детей своих увижу. А если ничего там нет, так, значит, я буду как мои мертвые дети, наравне с ними, — и это будет тоже хорошо и справедливо: зачем я живой, раз в земле мое убитое сердце?»

— Готово? — спросил офицер. — Дышите глубже! — приказал он заключенным и затем пообещал им. — Сейчас вы уснете сладким детским сном!

Гершанович, наоборот, перестал дышать и прислушался в наступившей тишине, желая услышать для своего развлечения выстрел; но он его не услышал и сразу сладко уснул: добрый ум его забылся сам по себе, обороняя человека от безнадежности.

Проснувшись, Гершанович попробовал свой лоб — он был гладкий и чистый. «Пуля у меня в уме», — решил человек. Тогда он попробовал свой затылок и нащупал там лишь старую вмятину прежнего увечья. «Я все еще живой, я на этом свете, я же так и думал, — размышлял узник. — Их новый мушкет — это не изобретение, их начинка патрона слаба, я так и знал. Ну скольких они убили одной пулей? Ну троих, четверых, наверно, а прежде до меня, до шестого, пуля доходила: слабеет враг людей, слабеет — я чувствую!»

Гершанович, лежа, пригляделся в сумраке, еще озаренном тайным, еле дышащим, вздрагивающим издали светом. Возле него лежал его передний сосед — лысый старик с детским пухом на чистой коже головы. Гершанович приложил свою руку к голове старика; голова его остыла, и весь человек умер, хотя он и не был поврежден ничем. «Вот я и думал — не нужно пугаться, — решил Гершанович. — От испуга может свет кончиться, а что тогда будет? Не нужно пугаться!»

Он сообразил, где находится; это было подземелье, где их, восьмерых людей, расстреливали, и свеча еще вдали не догорела. «Плохо, что мы тут, — рассуждал Гершанович. — Будет смерть. Ну что ж! Перед смертью тоже бывает немного жизни. В прошлый раз меня увезли в могилу, оттуда можно было жить...»

К нему склонился офицер. Гершанович почувствовал его по чужому дыханию, по смрадной нечистоте его внутренности, выносимой с дыханием наружу.

— Ну, как это у вас большевики говорят? — сказал офицер. — Не вышло?! Седьмым стал в очередь, жить захотелось еврею!

— По-моему, это у вас не вышло, — ответил Гершанович, — я живой!

— Ты уже мертвый! — определил офицер и наставил в лоб Гершановичу дуло своего личного маленького револьвера.

Гершанович поглядел в бледные, изжитые тайным отчаянием глаза офицера и сказал ему:

— Палите в меня... Здесь у меня жизнь, а там мои дети — у меня везде есть добро, мне везде хорошо... Мы здесь были людьми, человечеством, а там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей...

Пуля вошла в глаз Гершановичу, и он замер; но еще долгое время тело его было теплым, медленно прощаясь с жизнью и отдавая обратно земле свое тепло.

## 6

Спустя много времени к нам через фронт явился пожилой партизан и рассказал нам эту историю гибели Гершановича. Он был восьмым, последним человеком в очереди смертников, а впереди него стоял Гершанович. Он сумел настолько сподобиться мертвым и настолько сократил свое дыхание, что даже остыл телом, и тем обманул, ради жизни, немецкого офицера и даже ввел в заблуждение пробовавшего его затылок Гершановича.

Свеча в подземелье потухла, другой зажигать не стали, и этот старик, без точной проверки его смерти, был свезен и брошен в овраг вместе с истинными покойниками, а затем тихо ушел оттуда. Из экономии рабочей силы фашисты не всегда роют могилы, в особенности зимой — в мерзлом грунте.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было — не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость — и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

-- Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет, серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите?

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, может быть потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть: ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездом, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он придет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один беспорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец.

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним. Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами: обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку: настенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвою, незнакомой

заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугунок со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?... Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопчущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то всё получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову почувствовать радость своего возвращения всем сердцем — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогаком у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.



Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает, вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже выюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв выюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут, из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугуны со щами:

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не забудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твоё перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалею.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у неё короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил приценился, есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материнские варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на неё:

— Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одеда?..

— А я через очки гляжу, а не в них.

— Ещё чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет ещё, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка ещё учит сестру счету; складывая и вычитая перед ней тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материнский ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро ещё утомился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — сердчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать двоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобой только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую, готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой милovidную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? — а он отвечал им, потому что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о

других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет... Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец...

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, что он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приткнулся к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — стекол нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась:

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойдешь завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом умирался, не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была». А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинка надобавок не было, солдат

— сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети: не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный

путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

1946

## ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

*(Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)*

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на



себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеет, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинувшись необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него?» — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомянул, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим. Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку. Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахла воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревушего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь прикивал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чашу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него оказалась рана в грудь навывлет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь или так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бойходишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжело, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть, — стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля... — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — «Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха. Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от

сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего.

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготавливая красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до гибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, парод помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них откошились.

— Они плохие, такие не бывают, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать:

— Комиссар говорил, что мы для него — всё, что мы для него — Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потому теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин, спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле: не для

такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бывшие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда

Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощь и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого, дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил много своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной

девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названной жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. По у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было попятить, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с той же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы Родина, родное место, где могут родиться люди...

Фильченко представлял себе Родину, как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой, поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его.

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же



оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Полковой комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар. — Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — все наше, большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сменные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин. После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть таранить тирана! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться, — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окруженья...

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса: их что-то беспокоило, и они спешили, семена худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу, — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с ходу из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы: они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столь поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была: бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

«Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки».

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпаживались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылел у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть, — подумал он — сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько. — Пулемет по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струей — всей ощутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка, встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ошупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссеиной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход: они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что; они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссеиной дорогой низко пронесли немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить; день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол, под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготавливать, о вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж, как в деревне, на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну, так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходявшие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины, — ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно не серьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я, Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко. — Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду и они поняли, что родились на свет не для

того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее; лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою полбатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссе на насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем: прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого тапка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрашая, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горячая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело

машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накапливал добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машины обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по поленному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бывшего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пухом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку. Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в гоме пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.



Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета и он умрет, как глупая кроткая тварь, — на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въезжающих вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свергалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастьем жизни или вечному отчаянию, разлуке и гибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посередине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора. Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Даниил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, схватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

## ИВАН ВЕЛИКИЙ

Ранней весной, накануне света и тепла, бывают в природе печальные дни, — они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреть ее сквозь серый холодный покров облаков, и земля прозябает в унылом терпении. В эти дни кажется, что весна и лето еще будут нескоро и до них не доживешь.

В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, отрытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж.

Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, отрытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведая об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, мы начинали иногда пользоваться ими.

Командир роты старший лейтенант Юхов наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревушие удары пушек. Никого не было сейчас на земле меж нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха, однако она была уже не жилица на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхов всмотрелся в отдаление. По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь. Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды и огонь разрывов блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разгляделдвигающуюся лошадь. Глаза ее были полужакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп иссечен в полосы

высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанное оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой, истертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животное брело меж пушек, бьющих встречным огнем поверх ее изнемогшего тела.

Один немецкий снаряд разорвался меж нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть.

К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров.

— Скоро на дело пойдем, товарищ старший лейтенант? — спросил старшина Петров.

— Жду сигнала, старшина, — сказал командир. — Как у тебя люди?

— Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант... Это что же там, — фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?

— Стало быть, так, старшина, — ответил Юхов. — Она ослабла, и немцы отпрягли ее при отступлении, а бывает, что и отпрягать некогда, тогда рубят постромки, лошадь падает, и ее затаптывают. Видал такое?

— Все видал, товарищ старший лейтенант, на войне живу, — произнес старшина. — Жалко скотину.

Пушечная стрельба стала замирать, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушивались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью.

Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей, — сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте.

Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не прилегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза.

День теперь обеднелся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из окопов за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего: у врага здесь был только артиллерийский заслон, да жидкая пехота из старых возрастов — тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему и все добро мира он еще не снес в одно место, к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов — жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны.

И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится при деле, ей тоже есть тут своя обязанность: где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдату, он поглядит в добрую морду лошади, скажет ей: «И ты со мной терпишь? Давай вместе до победы», — и тогда легче станет солдату.

— Еще не вовсе старая скотина! — сказал боец Никита Вяхирев соседу Ивану Владыко. — От нее еще польза должна быть.

— Пожилая только, — ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь. — Работать бы сполна можно на ней, если тело ей дать и ласку добавить — у лошадей сердце большое, они все чувствуют.

Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе:

— Нету, с этой скотиной делать боле нечего — с ней забота не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил и жилы в ней посохли.

— Беда с фашистами, — сказал усатый красноармеец Свиридов, доброволец с начала войны. — Ишь как скотину работой выколотили, аж остья костей из нее наружу выпирают. Им что — лошадь же наша, русская...

— Им все нипочем, — сказал Иван Владыко. — Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тягловых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху, под корень надо фашиста кончать, гной из него вон!

Солдаты умолкли и задумались, стоя в земле лицом к противнику, освещенные робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое рабочее сердце в одиночестве билось сейчас против смерти. И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает; иногда она приподнимала голову и затем вновь поникала ею, иногда дрожь страдания проходила по ее телу и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле.

Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась вполовину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать, она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь в тяжелой, сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна; она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти.

Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу.

— Не понимает, оттого и мучается, — сказал Свиридов. — И пахарем была, и на войне служила, а все ж не человек и не солдат.

— Она душой не мучается, она только телом томится, — сказал Иван Владыко.

— Мучается, — подтвердил Свиридов, — потому что смерти боится, в ней сознания мало. А без сознания всякое дело страшно.

— Довольно тебе, — строго сказал старшина Петров. — Сколько там в ней сознания, мы не знаем, ты видишь — она кончается, а раньше землю в колхозе на нас пахала... А что нам полагается знать? А ну, кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать?

— Важное, товарищ старшина? — переспросил Владыко. — Нам тут коня стало жалко...

— Коня пожалели? — произнес старшина. — Верно жалеешь, солдат. Это наш конь и земля наша, повсюду тут наша Родина, жалей и береги ее, солдат... А что-то здесь птиц наших не слышать — весна уж, а птиц нету?.. Чего-то я птиц не слышу!

— Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине и птицы объявятся, товарищ старшина, — сказал Никита Выхирев. — А то мы огнем дуже шумим.

Иван Владыко знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное, но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная.

Командир роты Юхов теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни.

В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыко. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе — она ведь не убита и только замерла от слабости; может быть, она еще жива, и тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстелив под ее тело рогожки и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона — пусть еще повоюет нам на помощь.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню, — попросился Иван Владыко. — Как завечереет вовсе, я к нему доползу и послушаю, есть ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму.

— Действуйте. Это лучше, — согласился Юхов.

Как ночь стемнела, Иван Владыко осмотрел автомат, взял гранату и пошел припадающей перебежкой к лежащей лошади.

Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться.

Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыко снова явственно расслышал его томящийся стон. Иван вслушался и различил долгое, трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов.

Иван взялся было за гранату, но раздумал ее метать: он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь.

Желая точнее понять обстановку, Владыко осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, ослепивший его. Над его телом, вновь прикипшим к земле, пошли очередью долгие пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали замертво от его автомата два немца, а третьего он сразил вручную ложем своего оружия, находясь уже в тесноте навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть; однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыко вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата в то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине.

Иван Владыко, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, вскочил в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошади. Они кратко без веры выстрелили во мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой.

— Кидай оружие туда, в ночь! — приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их автоматы прочь во тьму.

— Иван, — тихо сказал один немец.

Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван.

— Я Иван Владыко! — ответил он пленникам. — Сидите пока что смирно.

— Иван Великий, — произнес немец неправильно фамилию.

Владыко склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое редкое тепло исходило из его ноздрей, он еще был при жизни.

— Выходим его обратно, — решил Владыко.

Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте, на шее, шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда. Владыко понял, что враги начали драть коня на шкуру и оттого конь застонал, чувствуя жизнь от боли.

— Зачем же вы коня живого драть начали? — сказал Владыко немцам. — Везде вы свою пользу ищете. Смотрите, как бы убытка вам кругом не нажить...

Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед.

— Наша атака, — помнил Иван Владыко. — Теперь коня тревожить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны, жив будет, на подсобную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся...

Иван Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще неостывшая глубокая теплота.

Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав; Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь.

«Воины! — подумал Владыко, спрятав трофейные ножи за голенище. — Двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им что ж: смысла нету! А без смысла на войне нельзя».

## ОФИЦЕР И КРЕСТЬЯНИН (Среди народа)

Деревню Малую Верею майор Александр Степанович Махонин занимал уже дважды, но оба раза оставлял ее, потому что фашисты направляли по десять и пятнадцать танков и по два полка пехоты против одного его батальона. Александр Степанович не мог понять столь жертвенной борьбы врагов ради удержания незначительного населенного пункта. Местоположение Малой Вереи и ее тактическая ценность в плане обороны противника не давали оправдания для защиты Вереи во что бы то ни стало. Майор Махонин любил вникать в мысль противника; но здесь, в сражениях за Малую Верею, он не мог угадать здравого военного расчета неприятеля, глупости же его он из осторожности не хотел допустить. Уже и мощный узел немецкой обороны на грейдерной дороге, что на левом фланге, был оставлен противником, и справа от Вереи наши войска тяжким прессом далеко вдавались вперед дугой по фронту, а фашисты не жалели своих войск и машин, чтобы ужиться на этой избушкой погорельщине у проселочной дороги. И поэтому наши войска в третий раз штурмовали Малую Верею, и в третий раз майор Махонин въезжал в эту деревню, сотлевшую в прах, но все еще невидимо живую. Здесь Махонин двое суток тому назад беседовал с одним жителем-стариком: жив ли он теперь? Беседа их не была тогда закончена; они расстались по чужой воле, не желая расставаться.

Старый крестьянин был жив. Он сам вышел на дорогу — опытный житель войны — и приветствовал русского офицера:

— Здравствуйте, Александр Степанович! В который раз мы с вами встречу делаем, и все без ущерба живем...

— Без ущерба, Семен Иринархович, — сказал майор. — Смерть еще, видно, заслужить надо, чтоб от нее добро и польза народу была, а так зачем же ущерб терпеть?.. Здравствуй сызнова, Семен Иринархович!

— Здравствуй, Александр Степанович... Правда твоя — и смерть даром не дается, ее тоже еще надо заслужить, а зря к чему же со света уходить! Правда, правда твоя!.. Да ведь и так можно сказать, Александр Степанович, ты, конечно, и сам о том чувствуешь, что ведь надо кому-нибудь и на земле дежурить остаться, чтобы безобразия на ней не было... Без нас-то, глядишь, и непорядок будет. Нам тут надо быть...

— Надо, надо, Семен Иринархович, — говорил майор Махонин.

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже усыхающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу, светлыми впечатлительными и нежными глазами, которые наш народ называет мнительными. Этот старик, как он сам сообщал, еще до войны сумел своим сердцем добыть из местной отошальной почвы столь тучный урожай льна и конопли, что его пригласили на выставку в Москву, чтобы показать всему народу этого тщедушного, но хитроумного труженика. Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем выражением спокойствия и долготерпения на лице, которое бывает у людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят лет и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы на его лице, — или то были черты постоянно сдерживаемой крайней впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина все еще была слышна молодая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера.

Майор и крестьянин не окончили своего разговора, начатого в прежний раз, тоже после штурма деревни.

— Ну как, теперь-то надолго к нам, Александр Степанович? — спросил крестьянин. — Пора бы уж быть у нас неотступно...

— Теперь навек, Семен Ириархович, — сказал Махонин.

Он пошел со стариком и ординарцем по деревне, по всем ее закуткам, погребам и земляным щелям, чтобы найти там оставшихся жителей, успокоить их и вызвать на свет. Он всегда так делал в наступлении; он чувствовал в этом удовлетворение своей работой солдата и конечное завершение боя; он чувствовал в тот час особое сознание, похожее на сознание отца и матери, рождающих своих детей; спасенные, худые, утраченные люди, таившиеся в рытой земле, открывали в сердце Махонина глубокую тихую радость, подобную, может быть, материнству: он спас их победным боем от смерти, и это казалось ему столь же важным и трудным, как рождение их в жизнь. «Живите опять, — шептал он, наблюдая жителей, отходящих от страха: какую-либо кроткую крестьящуюся на него старуху или ребенка, уже улыбающегося ему. — Живите теперь сначала», — и он брал у ординарца еду из вещевого мешка, которую тот всегда имел на этот случай, и дарил ее тем, кто сам умел кормить всех людей.

Так он поступил и теперь. Затем Махонин дал поручение ординарцу, а сам пошел проведать Семена Ириарховича.

— Пойдем торопливей, Александр Степанович: там старуха моя кончается, — сказал старик.

— А что с ней такое?

— Да ничего особого: война, Александр Степанович! Это ее взрывом оглушило, она и задохлась, в старости дыхание ведь слабое бывает... Я тоже пострадал, да уж оправился...

Семен Ириархович приютился для жизни в дворовой баньке, стоявшей на усадьбе поодаль от деревенского порядка, у самых прясел, за которыми вскоре же начинался лес, бывший теперь без листьев и без ветвей, обглоданный огненными битвами, похожий ныне на частокол мертвых костей, выросших из гробов. Банька была без фундамента, маленькая избушка из бревен, с одним окошком, величиною в детский букварь. По той причине, что в избушке не было фундамента и стояла она свободно на земле, ее двигали с места на место воздушные удары от фугасных снарядов; такая участь скособочила ее и солому из ее крыши всю повывудило ближними взрывами, а что осталось немного, то раздувалось теперь по ветру редкими прядями, как у простоволосой нищей старухи.

Майор молча вздохнул от вида этой природы в России и вошел за стариком в его убогое малое жилище; там в сумраке лежала на банной полке старая жена крестьянина. Старик тотчас принял к ней и освидетельствовал ее дыхание.

— Где ж ты все ходишь, сатана? — прошептала женщина, часто и угнетенно дыша. — Ведь я помираю одна, хоть бы ты помнил обо мне...

— Да ну, вот еще что такое, так ты вот и померла в одночасье: век терпела, а тут враз жить не можешь, как раз когда надо! — говорил Семен Ириархович. — На дворе теперь тихо, война на немцев ушла: чего тебе нужно-то, дыши теперь и подымайся, тебя забота и хозяйство ждет...

Старуха помолчала, потом она попросила мужа:

— Приподыми меня!.. Ловчей бери-то, аль уж от жены отвык!.. Погляди в печь, в самую топку-то, — там чугуны с теплыми щами был... Дай-ка я сама встану, неудельный ты мужик!.. Кой сутки неевши живем, — нам хлебать пора и командира заодно горячим покормим, отоштал небось человек, все бои да бои идут, когда ему кушать!..

Старик живо повеселел, что старуха его опять не умерла и выздоровела. Видно, он любил свою жену, или то было чувство еще более надежное и верное, чем любовь: тот тихий покой своего сердца вблизи другого сердца, коих соединяет уже не страсть, не тоскливое увлечение, но общая жизненная участь, и, покорные ей, они смирились и прильнули друг к другу неразлучно навек.

— Вот оно так-то поумней будет! — бодро бормотал старик. — Вставай, вставай, Аграфена Максимовна, теперь время военное — теперь и старуха солдат...

— Да будет тебе, брехун... Вон командир молчит, а ты все языком толчешь. Какой я солдат! Кто солдат-то кормить и обшивать будет, коли все солдатами станут, старая твоя голова, ты подумай!.. - Старик был доволен и не обижался.

— Груша, а Груша! — сказал он с мольбой. — А как бы нам куренка хоть на угольях как-нибудь поскорее испечь, ведь у нас нынче не простые гости...

Старуха оправила на себе одежду, потом начала чесать деревянным гребнем свои густые еще волосы.

— Да чего же, — согласилась она, подумав. — И куренка можно пожарить. Я сейчас встану схожу...

— Того белоперого, белоперого, он посытее будет других, — подсказывал старый хозяин.

— Да я уж сама угляжу, какой там посытее, а какой тощей... Учитель!

\* \* \*

Махонин не мог понять, почему в Малой Верее остались живые куры, когда тут оседлостью жили немцы.

— А как же фашисты-то у вас были, Семен Иринархович? — спросил майор. — Неужели они кур у вас не доели?

— Да, а что нам фашисты, Александр Степанович! — весело отозвался старый человек. — У нас не только что куры есть, иной колхозник и корову в лесу сберег, скотина в чаще две зимы спасалась. У нас и матки со свинофермы целыми остались, ну с тела отошдали малость, да это мы их поправим... Эх, милый человек, что нам немец, если по уму его мерить! Разве устоит он против нашего соображения? Он не устоит, он не может: мы по своему сознанию первее его, потому что мы судьбы больше испытали! Вот ведь что, Александр Степанович... Немец всю Россию завоевать хотел, да неуправка у него вышла. А хоть бы и завоевал он нас, всю Россию, так опять же все ему стало бы ни к чему и впрок бы не пошло, и он бы сам вскорости уморился от нас, потому что хоть ты и завоюешь нас, так, обратно, совладать с нами никому нельзя. У нас уж такое устройство во внутренности есть — пока живешь, все будешь неприятелю поперек делать, а потом, глядишь, либо он умрет от тебя, либо ему постыло и жутко станет у нас, и он сам уйдет ночью назад в свое отечество... Мы без вас тут, Александр Степанович, всякую мысль думали и сами знали, как нам быть, чтоб врага не было...

— Так-то оно так, Семен Иринархович, — произнес майор Махонин, — а может, и не так... Совладать фашист с нашим народом не может, это, Семен Иринархович, правда твоя, а убить его он вот старается...

— Иди, иди, старая, — сказал старик своей жене, уже убиравшей баньку, чтобы были в ней чистота и порядок. — Иди по моему указанию, ощидай нам к обеду цыплака!

— Обрадовался, старый бес, — тихо проговорила старуха, — привык гулять-то да язык чесать при Советской власти... ан фашист-то, гляди, опять воротится! И этот тоже — одну деревню отвоевал и сиднем в ней сел... командир! Нет того, чтобы дальше втупорье на врага идти, пока он напутан!..

Махонин понимал бессмысленность слов старухи, обращенных к нему, но все же ему стало стыдно и неловко.

— Мне, хозяйка, в Малой Верее велено быть... Я без приказа не смею идти. Но вы не беспокойтесь — там фашистов другие наши части добивают...

— Другие, — прошептала старуха, — а ты бы, где другие, третьим стал, оно бы скорее война-то ушла с нашей России...

— Ступай прочь, старуха! — рассерчал хозяин. — Велено тебе делом заняться!.. Вот фугаска домашнего действия — шипит, а не взрывается...



Хозяйка ушла. Майор потянулся всем телом и вздохнул в отдыхе. Все же и в этой баньке, в этой погубленной войной деревне уже зачиналась домашняя жизнь, мир и счастье. Эти ворчащие, бормочущие, озабоченные старые русские крестьянки, народив свой народ, держат его в строгости и порядке и тем сохраняют его в целостности, так что их постоянное недовольство и рассерженность есть лишь их действующая любовь, своей заботой оберегающая свой род.

Махонин хотел попроситься с хозяином: его беспокоило, что долго нет ординарца. Семен Иринархович стал удерживать майора, чтобы скушать курицу, однако майор остерегался засиживаться.

— Хозяйка вон говорит, фашисты еще могут явиться, — улыбнулся Махонин. — Мне пора в батальон...

— По дурости они все могут, — согласился Семен Иринархович.

— На что им ваша Верея? А они ишь как лезли сюда! Им уж ни смысла, ни пользы не было тут быть, а они все дрались...

— Так это ж просто и понятно, Александр Степанович... Когда у человека ни добра, ни разума нету, так у него прынцып начинает бушевать... У немцев теперь часто рассудка нету, я и сам такое замечал у них, а прынцып у них еще остался, они и воюют сейчас из прынцыпа да еще из страха. Пока что они, Александр Степанович, от своего начальства смерти боятся, а вот-вот им Красная Армия страшнее начальства будет, от нее-то смерть вернее, тогда они стадом в плен пойдут: берите нас на довольство...

Старик понимал кое-что верно. Майор услышал от него разумное умозаключение о боях немцев за Верею. Эти бои для фашистов не имели смысла, но чья-то карьера или авторитет зависели от боев за Верею, у кого-то там, по слову старика, «забушевал» принцип, и сотни немецких солдат были переработаны нашим огнем на трупы, хотя каждому ездому из немецкого обоза могло быть ясно, что Верею держать было нельзя и не нужно. Майор еще раз понял, что разум не всегда бывает там, где ему положено обязательно быть...

В армии, предчувствующей свое поражение и гибель, эти свойства явственно обнажаются; старый крестьянин сразу заметил, что немецкая тактика в боях за Верею не имела рассудка; майор же хотел найти в этой тактике смысл и ошибся.

Махонин не обиделся на превосходство крестьянского ума; он не отделял себя от людей; он понимал, что человек лишь однажды рождается от своей матери, и тогда он отделяется от нее, а потом его питают и радуют своим духом все люди, живущие с ним, весь его народ и все человечество, и они возбуждают в нем жизнь и как бы непрерывно вновь рождают его. И сейчас Махонин обрадовался, что Семен Иринархович сказал ему истину и он мог поучиться у него.

— Как зимовать теперь будете, Семен Иринархович? Плохо жить в разорении...

— Ничего, Александр Степанович, мы стерпим, а вскоре, бог даст, и отстроимся. Зато какое дело мы с тобой и с прочим народом исполнили — такую гадюку всего мира на тело России приняли и удушили ее. Ты вот откуда считай, а не от спаленной избы! Горе и разор наши минуют, а добро-то от нашего дела навеки останется. Вот тебе Россия наша! А Германия ихняя что? Глядел я тут на немцев: глупарь народ. Мы весь мир, говорят, завоюем. Воюйте, думаю, берите себе обузу.

— Мир покоя века завоевать хотели, Семен Иринархович: дураков много было.

— Правда, правда твоя, Александр Степанович: негодному человеку всегда весь свет поперек стоит. Оно и понятно — старательно он жить не может, людей ведь много, и с каждым в соревнование нужно вступить, делом, стало быть, нужно показать, что ты лучше его. А по делу-то он негодный и не поспеет, а жить ему хочется больше годного, удовольствие свое ему надо иметь скорее всех! Вот негодный и нашел себе занятие: опростать землю от людей, чтоб их малость осталось, и те тогда напуганные будут и унижение почувствуют, а всю землю с нажитым добром под себя покорить. Тогда живи себе как попало и как хочется, раз весь мир под тобой — тебе стеснения нету, ты сразу лучше всех, и душа покойна, и пузо довольно!.. Это и я, когда мальчишкой был, все хотел, чтоб у нас старичок ночью на пчельнике помер — тогда

бы я наутро в курень к нему залез и весь мед в его кадучке поел... Вот тебе круговорот жизни какой, Александр Степанович! Немцу, я тут заметил, всегда все ясно бывает, он думает — всю мудрость он постиг. А вот другого человека он не знает, и ни одного человека он не может понять, оттого он и погибнет весь без остатка...

Махонин слушал старого крестьянина, и у него хорошо делалось на сердце, словно оно все более согревалось. Он чувствовал, как тепло веры народа и праведность его духа питает его, и судьба его, Махонина, как русского солдата, благословенна, и сейчас уже, а не в будущем он знает свое счастье. Он видел, из каждого большого и правильного расчета живет его народ и почему он безропотно терпит горе войны и надеется на высокую участь в этих погибших селениях.

— Мы их все равно раздолбаем, Семен Иринархович! — сказал майор. — Где же твоя старуха? Мне ведь некогда!

— Старухи за войну от рук отбились, Александр Степанович! — объяснил старый человек. — Но ты потерпи малость — сейчас мы куренка кушать будем.

— Я кушать не хочу, — сказал майор. — Я попроситься хочу с твоей женой.

— А чего с ней прощаться — она помирать не собирается...

Избушка-баня, в которой они находились до сей поры спокойно, подвинулась с места, и они услышали сотрясение земли.

— Это, Александр Степанович, мина большая вздохнула, — сказал Семен Иринархович. — Фашист-глупарь, и помрет, так все никак не уймется, ишь как землю смертью наследил!..

— Война, Семен Иринархович, — улыбнулся Махонин. — А смерть на войне нормально живет.

— Нормально! — согласился крестьянин. — Правда твоя.

Пригнувшись, в баньку вошел капитан, заместитель Махонина. Он доложил командиру, что батальон зачисляется на отдых во второй эшелон без перемены своего расположения.

— Передний край уж далеко вперед валом ушел, товарищ майор, — объяснил капитан обстановку. — Тут скоро резервы всеобуча будут находиться.

\* \* \*

Тихо стало окрест Малой Вереи... Было позднее время года, уже наступила зима, и снег улегся в полях мирной пеленой, укрывая землю на долгий сон до весны. Но поверх снега стояли омертвелые колосья некошеного хлеба, добрая рожь, родившаяся в то лето напрасно. Крестьянство в привычном труде взрастило свой хлеб, но убрать рожь у него уже не было ни силы, ни душевной охоты. Иных крестьян немцы увели в свою темную сторону, где заходит солнце, другие истомились и померли поблизости на военных работах, а прочие, кто изредка остался живым в родной деревне, те были либо ветхие, либо малолетние, а кому и посилен был труд, у того не было желания собирать хлеб на прокормление мучителя. И рожь на нивах отдала зерно из колосьев обратно земле, опустошилась и умерла.

Семен Иринархович, и его жена, и прочие малолюдные жители деревни всю осень глядели в поле, где томилась и погибала рожь, и они плакали по ней...

Теперь Семен Иринархович сказал майору Махонину об этом великом крестьянском горе, и оба они наутро вышли в поле, чтобы проведать мертвую рожь.

Поникишие колосья, как забытые сироты, стояли в снегу, не взятые отсюда крестьянскими руками, и давно уже замертво окоченели. Семен Иринархович осторожно стал ощупывать колосья и размышлять над ними. Умершие, они еще хранили в себе дар человеку, как благодарность за минувшую жизнь: почти в каждом колосе еще таилось по несколько целых зерен, в ином два, в ином четыре зерна, лишь редкий колос был вовсе пуст и бездушен.

— Ты здесь осторожней ходи, Семен Иринархович, — сказал Махонин крестьянину. — Тут немецкие мины есть.

— Я чувствую, — ответил Семен Иринархович. — Я с оглядкой.

Но сердце его не стерпело теперь печального несжатого поля. В полдень он взял серп и вышел на ниву жать тощий хлеб по снегу. Красноармейцы из батальона Махонина долго следили за старым тружеником, согбенным в поле. Некоторые красноармейцы захотели пойти ему на помощь, но не отыскали в погоревшей деревне ни серпа, ни косы. Тогда они взяли у саперов пилы и топоры и вышли в лес, чтобы заготовить кряжи на постройку новых изб в Малой Верее.

До самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию, и до темноты не возвращался из поля старый крестьянин, по зерну собирающий свой убогий хлеб.

Майор чувствовал себя сейчас счастливым человеком: в добровольном труде своих бойцов и в скупой жатве старика он видел доброе одухотворение своего народа, посредством которого он одолеет неприятеля и исполнит все свои надежды на земле.

На вечер Махонин задремал в старом блиндаже, приспособленном теперь для временного жительства, но пришел ординарец и разбудил офицера.

— Товарищ майор, вас просит тот старик, он подорвался на mine и кончается...

Семен Иринархович лежал на полке в своей баньке, укрытый теплой ветошью. Возле него находился военный врач и молча сидела жена. Лицо у старика было уже дремлющим, утихающим и более серьезным, чем в истекшие дни его существования.

— Отхожу, Александр Степанович, — произнес старый крестьянин. — А вы живите, исполняйте свою службу, пускай на свете все сбудется, что должно быть по правде... Одни вы без меня останетесь...

Махонин склонился к умирающему и поцеловал его большую серую руку, всю свою жизнь терпеливо оживлявшую землю трудом. Он посмотрел в глаза отходящего человека и увидел в них лишь удовлетворенное спокойствие, словно смерть для него была заслуженным достоянием, — таким же добром, как и жизнь.

## МАТЬ

*(Взыскание погибших)*

«Из бездны зываю».

Слова мертвых

Мать вернулась в свой дом. Она скиталась, убежав от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой — мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге подобно усохшей былинке, несомой ветром, и казалось, ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху; они ужаснулись вида человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный отчужденный свет на лицах людей, пугающий зверя и враждебного человека, и таких людей никому непосильно погубить и к ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражается с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой.

Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой могильного погребения. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкшей земле. Еще пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мученье его существования на земле некому будет понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому что не станет в живых никого. И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?

Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить детей и дожить свое время на мертвом месте.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась.

Дуня с покорностью села рядом; Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Обоим теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна.

— У нас с тобой поровну никого нету, — произнесла Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете: у других людей такое же.

— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая жила, — проговорила Мария Васильевна. — А двое-то моих сыновей здесь, у посада, легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на Митрофаньевский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя была, потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она пожалела одного — она была добрая девочка, она наклонилась к нему, он был больной, он раненый, он стал как неживой, и ее тоже тогда убили, убили сверху от самолета... А я вернулась. Мне-то что же теперь! Мне все равно! Я сама теперь как мертвая...

— А что ж тебе делать-то: живи как мертвая, я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где твои лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подальше. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали. Они долго таково заботились, а потом уж хоронить таскать начали...

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили, глубокая могила была бы потеплее!..

— Нет, каково там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда до полна, а другим места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу по мертвым, покойники умялись, место стало, и они еще туда положили, кто остался. Им копать

желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники и лежат там, стынут теперь; только мертвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде...

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги, все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых...

Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась: она была старая женщина, она теперь устала; она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее дети — два сына в ближней земле и дочь в отдалении.

Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.

Из посада уходил в равнину Митрофаньевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света и редко кто доходил сюда.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе; точно выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора.

— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь, что ж, теперь вы умерли, где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Матвею-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию — двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый пошел бы, вчера она именинница была... Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла... Они, что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было, — что ж нам, матерям, делать-то? Одной-то жить небось и не к чему...

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевелится, — умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых...

Мария Васильевна отняла лицо от земли: ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда зовет к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь? Или нет ее больше нигде, и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на Митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, прикинувшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился еще ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.

## НА МОГИЛАХ РУССКИХ СОЛДАТ

Путь человека может быть сужен колючей проволокой и сокращен поперечными препятствиями — камерами допросов и пыток, карцером и могилой.

Именно этой узкой дорогой, огражденной дебрями колючей проволоки, и мимо подземного карцера мы проходили вослед замученным, вослед умершим советским солдатам и офицерам.

Это место находится недалеко от Минска, у деревни Глинище, возле железной дороги Минск-Молодечно. Здесь недавно был лагерь советских военнопленных; у немцев он назывался шта-лагерь № 352.

Немцы щедры на смерть. Их наука, в которой они сделали серьезные успехи, заключается в познании того, что не надо, что губительно для жизни человека, и немцы пристально, пристрастно наблюдают все явления природы, которые могут быть использованы для уничтожения враждебной им жизни, и фашисты использовали их на практике. Так, в том шта-лагере № 352, который мы посетили, до сих пор местность заражена блохами. Теперь, сравнительно, блох осталось ничтожное количество, но прежде, когда здесь обитали свой короткий предсмертный срок советские военнопленные, в лагере существовали миллиарды блох. Давно известна казнь посредством муравьев, известна также пытка повторяющейся долбящей каплей воды. В дополнение к этому знанию фашисты открыли, что достаточное, великое множество блох может измучить тело человека до того, что он расчешет его до костей, что он дойдет до безумия, что он обессилеет и падет в тщетной борьбе с мелким, но неисчислимым гадом, блохой.

С немецкой точки зрения, блоха, как и вошь, хороша тем, что она умножает среди обреченных некоторые заразные болезни и в этом смысле действует как одна пуля на сотню людей, умерщвляя их всех и тем экономя металлические боеприпасы. Немцы это учли в шта-лагере № 352, но они учли также и то неудобство, что блоха не понимает разницы меж русским и немцем и тот административный немец, который сам жил в лагере, вынужден был ограждать себя от блох дополнительными мероприятиями, что вызвало расходы и хлопоты, поэтому работа блох не являлась совершенной. Такое обстоятельство, возможно, озадачило немецкую мысль и поставило новую проблему перед их главной наукой — наукой о массовом, быстром, экономном и бесследном истреблении человечества. Эта проблема заключается в изобретении блохи, не вкушающей немца.

В комбинате лагерей вокруг Минска — хутор Петрошкевичи, урочище Уручье, урочище Дрозды, деревня Тростенец, урочище Шашковка, деревня Малый Тростенец, Тучинка и других — фашисты применяли всю, так сказать, композицию средств истребления, от голода до газа

и огня, всю свою «промышленность» для производства массовой смерти советского народа. И более того, они ввели здесь утилизацию золы и пепла от сожженных трупов для удобрения почвы в подсобном хозяйстве, продукты с которого шли на улучшение стола немецкой полиции (урочище Шашковка, что в полкилометре от деревни Тростенец). Мы уже знаем, что в Майданеке немцы собирались применять или применяли водогрейки-кубы с круглосуточной горячей водой для палаческих команд; эти водогрейки устанавливались на кремационных печах и обогревались отходящими газами печей, улучшая термический коэффициент использования тепловых установок. Здесь, в Шашковке, немцы открыли, пожалуй, наиболее совершенный способ бесследного уничтожения людей; они нашли последнее звено или заключительный процесс безостановочной обработки трупов. Это последнее звено им дала «агрохимия». То количество несгораемого праха, которое роковым образом все же остается от человека и является как бы уликой обвинения, может быть, оказывается, погружено в поверхность почвы, включено в химическую жизнь земли, использовано растениями на свое произрастание, и таким образом оно расточится без остатка и уйдет в вечную тайну, не оставив никаких улик. Кроме того, утилизация трупной золы в земледелии окажет серьезное влияние на повышение урожая, но это уже пойдет немцам в качестве премии за их инициативу, за их рациональные мероприятия.

Пепел шашковской кремационной печи, разбросанный на полях полицейского подсобного хозяйства, является фактом всемирного значения, даже в наше время великой трагедии человечества, когда любое действие немцев, примененное ими с целью подавления и истребления свободных людей, уже не кажется новым. В шашковском пепле есть одна принципиальная новость или особенность: пепел трупов шел в конце концов на пищу палачам, иначе говоря — тот, кто умерщвляет, сам вынужден питаться останками умерщвленных; это, само по себе, является предзнаменованием великого возмездия.

В Шашковке сохранились живые свидетели. Они видели этот пепел удобрения для полицейских огородов. Они видели более того — в Шашковке была лишь одна печь, и притом довольно кустарного устройства (печь-яма); естественно, что печь работала с перегрузкой, потому что палаческие команды получали большие задания по уничтожению. Свидетели показали и детальный осмотр этой печи подтвердил, что расстрелы наших людей производились возле самого устья печи; когда же у немцев не было желания сначала расстреливать людей возле печи, а потом засовывать их трупы в печь, то есть совершать лишнюю работу, они приказывали обреченным влезать в печь самостоятельно, живым порядком, и расстреливали их уже внутри печи, а затем предавали сожжению. В отдельных же случаях, из экономии палаческих сил или для разнообразия, группы людей взрывались ручными гранатами... На вопрос о технике удобрения полицейских полей мы получили ответ от старого крестьянина, что трупный пепел был не мелкий, в нем были и кости, и несотлевшие пленки, и остатки внутренних органов человека, так что на кожуре созревшего картофеля можно было заметить, например, присохшую к нему пленку человеческого органа, может быть — человеческого сердца...

В шта-лагере № 352 (для военнопленных) немцы обходились без «агротехники»; они здесь организовали для наших бойцов и офицеров массовую смертную агонию. Агония и быстрая последующая гибель десятков тысяч наших военнопленных устраивались простыми начальными средствами: голодом и непосильным, измощающим физическим трудом. Затем страдания нарастали уже как бы сами по себе и вскоре приводили пленного воина к смерти. Голод, измощение, отсутствие всякого лечения и условий хотя бы для кратковременного отдыха и покоя, скученность, насекомые, моральное подавление, нечистота, холод — все это мгновенно размножало болезни: тиф, дизентерию, скоротечную чахотку.

Но фашисты, организовав в лагере 352 массовую агонию смерти для наших солдат и офицеров, не могли предоставить дело на самотек, чтобы одна эта агония постепенно унесла все жертвы в могилу. Немцы торопили и агонию: они убивали истощенных, умирающих советских воинов, до конца сохранявших свое достоинство, уходящих в вечность с открытыми глазами солдата и с терпеливым мужеством героя.

Вскрытие лишь одной массовой могилы на кладбище возле лагеря 352 показало следующее. В могиле лежали трупы мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были без одежды, все голые. На трупах явственно были заметные увечья: повреждение черепов и головного мозга, у многих были размяты грудные клетки с обширными прижизненными повреждениями позвонков и переломом ребер и другие физические признаки пытки, увечья и убийства.

Все они были воинами Красной Армии, нашими солдатами и офицерами. Их личные документы, некоторые сведения об их жизни теперь находятся в наших руках: немцы не смогли или не успели их уничтожить.

Следы мучительной пытки на трупах наших павших воинов, провалы ранений, нанесенных тупыми, твердыми, тяжелыми предметами с огромной силой, являются доказательством, что и в плену, в агонии, накануне смерти наши воины продолжали сопротивление врагу и там они, уже безоружные, действовали как верные, непобежденные солдаты, вооруженные, как мечом, твердостью чести и духом долга; это согревало их холодеющее сердце в их последней обороне.

Кто же они были?.. В двухстах метрах от лагеря расположено кладбище. По официальным данным, на этом кладбище захоронено не менее 80 тысяч человек наших бойцов и офицеров. Действительное число жертв, после дополнительного и более точного расследования, несомненно, значительно увеличится. Столько покоится наших людей лишь на этом, на одном кладбище, у деревни Глинище. Массовые могилы уже утратили подобие могил — они похожи на глинопесчаные бесплодные площади, приподнятые на полметра над окружающей местностью; некоторые из них имеют размер по поверхности до 40 метров в длину и до 30 метров в ширину. Могила не как холм в память погребенного здесь человека, но могила, как безымянная площадь, далеко и все более распространяющаяся по земле, — это есть новое архитектурное произведение главного немецкого зодчего Гитлера: оно, однако, может идти в сравнение с другим изобретением германского духа — трупным пеплом как удобрением для полицейских огородов; между прочим, в этой «агрикультуре» действительно есть какой-то экономический смысл самоокупаемости немецких палачей — самоокупаемость зверя — съешь убитого.

Далее творчество злодеев как бы усложняется. Оно принимает символическую форму. Примерно посреди кладбища шта-лагеря № 352 стоит большой крест. На кресте штампованная фигура Иисуса Христа из серого дешевого металла; ниже подножия Иисуса надпись по-русски: «Могила неизвестных русских солдат».

Здесь немцы ошиблись: русские солдаты, убитые, замученные и похороненные в могилах-площадях, в большинстве своем известны нам по именам, потому что документы о них остались, а следовательно, мы можем восстановить и их жизненную биографию; значит, определение в эпитафии — «неизвестные» — неправильно: нам известны наши солдаты, и мы сохраним их в памяти народа поименно, лично и отдельно, потому что мы народ, а не стадо...

Другая ошибка немцев гораздо серьезнее. Этим крестом с формально вежливой эпитафией враг хотел обмануть нас или кого-то другого, он хотел взять нас «на бога»: вот, дескать, и мы отдаем должное умершим. Но под этим крестом, в могилах-площадях лежат даже не целые трупы, а раздробленные скелеты. Зверь, конечно, может быть сентиментальным, но здесь нет и сентиментальности, здесь нет и подобия содрогания убийцы над прахом своих жертв. Здесь есть обыкновенный расчет глупого злодея — обмануть всех; глупец всегда уверен в своем уме и в своем благородстве, но более всего он уверен, что он обманет всех, а его никто. Но злодеев и не следует обманывать, их нужно уничтожать. В свое уничтожение злодей обычно не верит, а когда ему придет возможность удостовериться в своей гибели — он не успеет этого сделать и все равно не поверит; он и тогда попытается перехитрить всех, чтобы как-нибудь выкрутиться.

И посейчас стоит этот крест над сотней тысяч трупов советских солдат, убитых и умерщвленных в плену, в нарушение и поругание не только всех международных конвенций о военнопленных (об этом мы и не собираемся немцам напоминать), но и в надругание над честью и достоинством воина (убийство безоружного вне поля брани). Фашисты не знают смысла



существования солдата и разума его действий, именно потому они и шумели о себе, как о солдатской нации, более чем любой другой народ, подобно тому как импотент более всех интересуется плодовитостью; и скажем еще, что именно отсутствие истинного, одухотворенного воина в рядах германской армии является одной из причин поражения фашистской армии. Немцы воспитали из своих солдат убийц, но действительный солдат — противоположность убийцы: смысл его близок смыслу матери. Если немцы захотят понять точнее, что это означает, пусть они обратятся к хорошо известным им русским солдатам...

Вокруг этого креста, памятника глупого, жестокого и самонадеянного лицемерия, сейчас осыпаются листья берез; стоит глубокая осень; шумит ветер в голых мертвеющих ветвях. Сколько великой юной силы навеки вдавлено немцами в эту землю!.. На некоторых могилах (всего их здесь около двухсот) есть маленькие деревянные кресты с дощечками, и на дощечках тех надписи — десять, пятнадцать фамилий, иногда указан и год и даже место рождения. Годы рождения: 1915, 1917, 1918, 1920, 1922-й... Иным из нас это будут братья, а иным уже дети. Это наши дети лежат. После десяти, пятнадцати фамилий немцы скромно добавляли: «и другие». Так можно у заставы большого города повесить доску с перечислением жителей и написать на ней: «Иванов, Петров и другие». Большие могилы-площади не имеют таких именных досок; у фашистов не хватало фантазии на них написать: «Здесь лежит всего один человек».

Население мертвых, погибших в лагере 352, столь велико, что мы здесь находим и знакомых товарищей: Чумаков Георгий, Шмаков Сергей, Артемов Петр, Климентов Никита. Двое из них сержанты и двое — офицеры. Сержант Климентов Никита до армии был рабочий человек; он был буровым мастером на бурении глубоких разведочных скважин. Некогда он говорил мне, что когда-нибудь он пробурит в Советском Союзе такую глубокую скважину, что алмазный бур его достигнет великого подземного ювенильного моря — водоема девственной воды. Петр Артемов был поэтом. У него было впечатлительное разумное сердце художника, но у него не стало теперь жизни; немцы обратили его молодые кости в мертвый минерал, и кровь его стала лишь трупной жидкостью.

Но не все, далеко не все наши военнопленные лежат в окрестностях Минска на одном этом кладбище. В урочище Уручье есть десять огромных ям-могил. Там лежат трупы в семь слоев. Все трупы уложены вниз лицом, на многих из них сохранились остатки одежды и обуви. Среди этих трупов много наших танкистов, в карманах у них сохранились всякие документы; самому старшему из них не более тридцати лет. В могилах обнаружены целые насыпи стреляных гильз немецких винтовок; почти все военнослужащие, погребенные здесь, были застрелены в голову, причем расстрел военнопленных производился из винтовок и карабинов на очень близкой дистанции...

По предварительным подсчетам, в окрестностях Минска уничтожено не менее полутора тысяч советских военнопленных, солдат и офицеров. Дальнейшее расследование может только увеличить эту цифру. Уничтоженное гражданское население не входит в указанное количество.

Невдалеке от некоторых могил и посейчас еще можно найти предметы и имущество, принадлежавшее живым, — гребенки, зубные протезы, ножики, солдатские котелки, пучки волос, костыли инвалидов, женские и детские башмаки, медные денежки, обрывок письма от матери — бедное добро мертвых...

В сумерки на пустынное военное кладбище бывшего шта-лагеря № 352 пришла одинокая женщина. Она опустилась на колени возле могилы, на которой была доска с именами погребенных...

Трудно утешить эту женщину и нашу общую мать — Родину. Но наша любовь к своему живому народу и наша память о мертвых и замученных обращена яростью и мщением к убийце-врагу, она действует огнем и оружием. Наша ненависть к противнику питается нашей любовью к своему народу, и поэтому наша энергия мщения неистощима.

## САМПО

Не пойду, пока живу я  
И пока сияет месяц...  
В избы мрачные Похьелы,  
В те жилища Сариолы,  
Где героев пожирают,  
Где мужей бросают в море.

*Калевала*

На реке Пожве в Карелии была малая деревня, Пожва тож, а в той деревне был колхоз по названию «Добрая жизнь», и всю деревню с колхозом звали Добрая Пожва.

Ото всей Доброй Пожвы осталось теперь одно водяное колесо, потому что оно было мокрое и не сгорело в пожаре. А все другое добро, издавна нажитое и сбереженное, погорело в огне и сотлело в угли, уголь же дотлел далее сам по себе, искрошился в прах, и его выдул ветер прочь.

По деревне Доброй Пожве немцы и финны били из пушек, ее палили бомбами с неба, и деревянная Добрая Пожва погорела и умерла.

Одно водяное колесо осталось целым; оно, как и прежде, в мирное время, вращалось на своем деревянном валу и крутило деревянную же шестерню: только цевки этой шестерни теперь не задевали другой шестерни: вся снасть погорела, и то, что эта снасть крутила в работу на пользу народа — целое машинное устройство, — тоже сотлело в огне.

Лишь одно водяное колесо безостановочно трудилось теперь впустую: поверх по желобу на него, как и прежде, вступала вода, она наполняла ковши и своим весом велела колесу кружиться день и ночь, потому что поток воды был живой и он не убывал.

Битва русских и карел с белофиннами и немецкими фашистами прошла в этом краю, и удалась отсюда, и не стала более слышна. В наступившей безлюдной тишине одно водяное колесо в Доброй Пожве поскрипывало от старости и работало напрасно.

Вокруг росли и шевелились обгорелыми ветвями леса, и безмолвно лежала под ними чуткая материнская земля, все породившая, но сама неподвижная и неизменная. Однако от этой земли, серой и равнодушной, отвыкнуть было нельзя никому, кто на ней родился однажды. И кузнец, карел Нигарэ, тоже не мог отвыкнуть от привычной земли. Он вернулся в пустую Добрую Пожву, где он когда-то родился и жил всю жизнь до войны.

Нигарэ служил в морской пехоте, спешенной с Ладожской флотилии, рядовым бойцом. Чтобы лучше и привычней было, его в части прозвали Киреем, и он теперь сам привык к себе, что он есть Кирей; он вытерпел в боях всю зимнюю кампанию и не был поврежден врагом, но недавно его оглушило близким взрывом бомбы, и он пал на поле сражения без памяти; опомнившись, он остался целым, но говорить слова стал хуже, он начал заикаться, и при звуках музыки или поющего человеческого голоса или от вида цветущих растений он сразу плакал в сердечной тревоге. Тогда его отпустили из армии на бессрочное время, и Кирей прошел с партизанами через фронт, а здесь, возле родного места, отошел от них, чтобы побыть дома, а после опять вернуться к партизанам и помогать им в починке оружия и железных изделий, в чем Кирей с молодых лет был достаточный мастер. Кирей понимал, что, куда идет война, даже покалеченный или убогий человек должен быть в деле при войне, потому что другой жизни, кроме войны, нету, пока по избам и земле Карелии ходит мучитель-неприятель.

Кирей обошел тихим шагом всю погибшую, погорелую Добрую Пожву и сел возле шумящего, одиноко работающего водяного колеса.

Человек стал грустным. Его осветило вечернее солнце, уже слабое на севере в эту пору позднего лета. На пеньке сидел утомленный, постаревший человек в изношенной серой шинели; лицо его стало теперь худым и обросло бородой серого, выветрившегося цвета, тело состояло более всего из костей, а свободного мяса давно уже не было, и глаза его доброго льняного

цвета спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия. Тело краснофлотца Кирея усохло в боях, отошало в тревоге и в походах, а сердце его, увидев смерть Доброй Пожвы, наполнилось горем до той меры, когда оно больше уже не принимает мученья, потому что человек не успевает одолевать его своим сердцем. И тогда весь человек делается словно равнодушным, он только дышит и молчит, и горе живет в нем неподвижно, сдавив его душу, ставшую жесткой от своего последнего терпения, — но горе тогда уже бессильно превозмочь человека на смерть.

Кирей не нашел в Доброй Пожве ни одного жителя, и его жена и четверо детей тоже пропали со света. Теперь осталось тут одно водяное колесо и еще подальше него погрузилось в почву мертвое железное тело электрической машины, которую в мирное время вращало водяное колесо. От этой электрической машины шла проволока по всей Доброй Пожве и далее окрест — на ферму, на огород и на лесопилку. Сила воды крутила машину, а от машины рождалось электричество, которое работало все, что полезно человеку. Электричество делало свет и тепло в избах, равно оно обогревало скотину и птицу в зимнюю стужу, чтобы скотина не убывала в теле, а птица давала мясо, перо и яйцо; электричество мололо зерно на мельнице, мяло лен, крутило прялки, давало воду по трубе к середине деревни, чтоб ходить за ней было близко, разделявало лес на доски, корчевало пни, дробило камень на постройку дорог и грело молоко для питания детей. И еще работало электричество — все, что надобно для пользы и в чем есть нужда, потому что силы машины хватало для работы и еще оставался остаток.

Жить было тогда сытно, свободно и рукам нетрудно. Кирей, когда у него родился младший сын, устроил от электричества маленькую машину-самосуйку, чтоб она качала потихоньку колыбель ребенка, а мать не трудилась и дремала возле него. Позже, уже перед войной, председатель колхоза велел Кирею поставить на мельнице вальцы, чтобы молот из зерна самую мягкую сладкую муку, потому что стало рожаться много детей, а малолетним мука грубого помола вредна для желудка, и у них начинаются поносы от жесткого хлеба. Кирей начал было вязать бревенчатый фундамент под вальцовую мельницу, но не управился и ушел на войну, а теперь и следа не стало от его работы.

Кирей вспомнил сейчас, как его жена, кроткая нравом, похожая лицом на ребенка, хоть и сама уже рожавшая детей, как его жена читала ему однажды вечером вслух старую карельскую книгу Калевала. Там было написано про одного мастера Ильмаринена, который сделал самовольную мельницу Сампо: она сама молола зерно, и хлеб шел из нее даром, чтобы кормить всех досыта и чтобы не нужно никому было заботиться о пропитании.

— Это неправда, — сказал тогда Кирей своей жене. — Это зря написано в книге. Зачем хлеб даром нужен? Народу без заботы жить нельзя, у него сердце салом покроется и ум станет глупым.

— А хорошо бы так было, — сказала в то время жена. — Мели да мели зерно, а ни сеять, ни жать не надо...

— Это плохо, — рассудил Кирей. — По телу жир пойдет, в голове пустые мысли будут... Нам такое ни к чему, у нас лучше есть, чем Сампо, у нас — электричество.

— Оно не такое, оно не даром, — сказала жена, — к нему старание нужно.

— Потому оно и лучше, что оно не даром, а требует от человека разуменья, — ответил Кирей. — Нужно, чтоб человек имел развитие, а не жил в одно свое мясо...

— Может, и правда твоя, — задумчиво сказала жена. — Всё у нас было, а всё будто чего-то недоставало, неизвестно чего...

— Неизвестно чего не бывает, — произнес Кирей. — Колхоз наш полон добра был, иль всё тебе мало?

Жена промолчала; неизвестно, чего она думала и чего хотела. И все это теперь миновало. В Доброй Пожве было сделано лучше, чем в сказке о самовольной мельнице Сампо; электричество было искусней сказочной силы, умевшей лишь молотить зерно, и разумнее, потому что требовало от человека задумчивой работы и жить ему зря не давало.

Что же теперь нужно было делать бедному, больному Кирею, когда вся жизнь в Доброй Пожве, бывшая сильнее и разумнее, чем написано в сказке, погорела, исстрадалась и погибла, как не бывшая никогда, когда остался только ветер и пустая земля?.. Кирей не знал, что ему нужно теперь делать и как быть. И он стал делать сначала то, что было прежде; пусть будет все обратно, что умерло и погорело в Пожве.

Пришелец пошел на место своей избы, потрогал там погорелую землю и решил вновь сложить жилище. Обойдя деревню, он нашел топор без топорща, увидел бревнышко в лесу и сел стругать перочинным ножом новое топорщище... Народ не может умереть до последнего человека, кто-нибудь останется, и старые люди вернуться жить на прежнее место, а вдобавок к ним нарождаются новые люди, и Добрая Пожва построится разумнее прежнего, и опять электричество станет светить и работать на пользу и счастье. Опять будет хорошо, но только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы и лучшая жизнь им не достанется.

Что же это такое? Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающую горе в сердце, которое уже не может зажить в нем ни от какого добра или счастья. Его жена и дети домой не придут, и Сампо — электричество — для них более не нужно. Жене нужно было кроме хлеба и хорошей жизни еще что-то, неизвестно что, — она о том говорила. Что же это было, что неизвестно было ей самой и что ей было необходимо? Пусть бы она была живой, и дети живыми... Но они погибли.

«Отчего же они погибли? — с затруднением спросил Кирей, глядя на всю опустевшую, замученную землю. — У нас все было, а они умерли... Иль и правда, у нас недостаток был чего-то, о чем жена горевала, и оттого погорела и померла вся наша Добрая Пожва... Я того не знаю, я только живу и мучаюсь один».

Кирей мало чего знал. Сделав топорщище к топору, он начал подрубить дерево в лесу, решив по привычке к жизни строиться сызнова. Боль в сердце от горя и воспоминаний мешала ему иногда работать, и тогда он опускал топор и думал, занятый своей печалью: «Отчего наше добро не осилило сразу ихнее зло?.. Оно же было могучее — добро и сила нашей жизни!»

Кирей осерчал и с размаху стал вновь трудиться топором. Он не знал всей тайны жизни и не знал того, почему зло хоть на время может одолевает добро и убивать безвозвратно любимых людей. А это горе уже не на время, а навеки.

До самого позднего вечера с усердием трудился Кирей, терпя свою печаль. Он хотел, чтоб опять настало такое время, когда в новой Доброй Пожве электричество будет молотить зерно, освещать тьму, нагнетать воду и крутить самопрялки. Но это все будет одно лишь добро, а его мало для жизни, потому что добрая жизнь податлива на смерть, как видно стало на войне.

«Мы сделаем так теперь, — соображал в своем уме Кирей, — чтоб в новой Доброй Пожве молотилось не одно хлебное зерно, а смалывалось еще в смерть зло жизни. Электричество того делать не умеет, и никто, должно, не умеет. Но мы помучаемся и тогда сумеем. Хлеб тоже нужен, а одолеть смерть от зла, от врага-неприятеля еще нужнее. Жена-покойница чуяла правду, и умерла она оттого, что мы ее не чуяли».

Кирей решил отстроить пока что одну избу и сделать в ней кузню для починки партизанского оружия. А далее он хотел жить до конца, до самой дальней смерти, пока станет мочи, чтобы строить всю Добрую Пожву, какой она была, и еще лучше, и сработать своими руками самое важное и неизвестное; добрую силу, размалывающую сразу в прах всякое зло.

Самому Кирею уже ничего не нужно было, потому что его сердце ушло в вечное горе о погибших детях и жене. Но он понимал, что сам был виноват в их смерти, раз не мог устроить им жизни без гибели. Он понимал, что и другие люди тоже погибли по слабости его рассудка и по его вине, и по вине таких, кто подобен ему. И совесть перед мертвыми давала ему теперь силу для жизни. Кирей не хотел уйти к любимым мертвым, не отработав своей вины для живых. Пусть живые будут не его дети и чужие люди, однако их сердце никогда не должно быть порушено ни железом врага, ни горем вечной разлуки.

## АФРОДИТА

«Жива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, — но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог ничем помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смысленная, уживчивая и не должна потерять без следа или умереть от голодной нужды среди своего народа. Допустимо, конечно, несчастье на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете.

Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое неподвижностью вечного остановленного счастья. Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон. Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой, так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли ёмкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых

тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, — с тем, чтобы эти письма были вручены адресату по нахождению его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро — иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников...

Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.

\* \* \*

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и скрытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней, — трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти, — плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисали книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь как материал для постройки обороны.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стучится в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное, большое, любимое тело Афродиты, и его скупают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во

дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Оноемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром... Земляная плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья; она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем, доме они жили тогда вдвоем в одной комнате, с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще неустроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков, — этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодавшая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.

Наверно, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но он не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он прикается к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами... Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбацье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль

мира и времени. Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травой; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле, рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они, так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества — ради того, чтобы началось, наконец, на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении...

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе; это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле, — черепица была тогда его чувством и переживанием, она заменяла ему книгу и друга-человека; позже он понял, что никакой предмет не может заменить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его



сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он мирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, — тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и измощающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета, а по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замаскировал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, измощающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия...

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поврежденного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполит-просвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда, — крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего умения строили новый мир на земле: их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной благодатной работе;

их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично-дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же: «Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что Советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно с гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович, — утроба, каземат да могила — одно беспмятство; и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где Советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя едва ли, уж много прошло времени...

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. Но от жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте ручьями слез подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листьями на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь!

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин: каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства? Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка, как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя,

а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощем и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отделилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка, — ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто, — одно приданое в огне прожила, другое съешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько останется добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию во второй раз. «Электричество потухло, — сказал кустарь по бочарному делу Евтухов, — а мы и впредь будем жить неугасимо! И тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиозла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее и верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание: пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него, — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем, как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответственно, но они равно жестоко разрушали его жизнь и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой, — ведь бывает, что зло совершается без желанья, невольно и незаметно, и даже

тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая добро, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда вместе со своим поколением находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и, если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся, — с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ, — ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире... Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций... Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымимся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами — что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ль! Ты сам умный — ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь, другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»... Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не зная ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, быющего навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдившем городе, до сих пор еще таились следы ее ног на земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, — здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела — ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свиданья, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

Ординарец зажег свет в маленькой стеариновой плошке на деревянном кухонном столе. Фомин снял шинель и сел писать письмо Афродите: «Дорогая Наташа, ты верь мне и не забывай меня, как я тебя помню. Ты верь мне, что все сбудется, как быть должно, и мы снова будем жить неразлучно. У нас еще будут с тобою прекрасные дети, которых мы обязаны родить. Они томят мое сердце тоской по тебе...»